



Тамара БУЛЕВИЧ

ФРОСЯ-ЕФРОСИНЬЯ

Повесть

Москва 2007

ББК 84 Р7 (Рос.-Рус.)
УДК 882
Б-95

Тамара БУЛЕВИЧ. ФРОСЯ-ЕФРОСИНЬЯ. Повесть. М., «Московский Парнас», 2007, 112 с.

«Фрося-Ефросинья» — первая повесть прозаика и поэта Тамары Булевич. Будто свежим ветром языка, насыщенного таежными запахами, удивительным корневым говором веет от нее.

Перед читателем проходит судьба семьи сибиряков-таежников Красиных, в которой отражается нелегкое наше время и слышатся отзвуки истории. Сердце болит, когда читатель вместе с Ефросиньей думает о том, что пришлось вынести ради достояния страны, которое иными временщиками нынче растаскивается направо и налево.

Верю в большое будущее прозаика Тамары Булевич. У неё уже сегодня есть свой читатель, а завтра его ряды стремительно умножатся.

*Леонид ХАНБЕКОВ,
критик, вице-президент
Академии российской литературы.*

ISBN 978-5-7330-05-44-4

© Булевич Т.А.
© Правоторов М.Г. Обложка.

1.

У края скалистого берега Енисея, на отшибе таёжного села Спасского, несокрушимой крепостью стоял рубленный из лиственницы дом. Его мощные, гладко тёсанные стены сложили более ста лет назад сибирские богатыри, потомственные казаки Красины — Порфирий и Егор.

Хвойный бор обступал дом с трёх сторон. С южной — у села, лес ненадолго прерывался несколькими узкими улицами, далеко и охотно бегущими вслед за многоводной рекой да леспромхозовскими вырубками.

На запад и восток от дома на сотни километров тянулась нетронутая человеческой вседозволенностью тайга. Здесь она жила едино с небом и солнцем.

В добрые лета красинская семья за пятьсот шагов от забора набирала в зиму груздей, рыжиков, черемши да всякой



таёжной ягоды столько — не хватало заранее приготовленных бочонков. Запасённые с лихвой дары леса поднимали на высокий чердак, а там, на сквознячке и чистой мешковине, их держали до полного высыхания, а в постные дни — в пироги, супы да кисели.

Посередине подворья разлаписто возвышался могучий красавец кедр. Он знал каждого красинского отпрыска, ласково подпирал их первые шаги сильным, шершавым стволом, защищал от палящего солнца и ветра, кормил сладкими орешками. Сам крепчал и хорошел. Пикой верхушки, заметно прирастающей за лето, казалось, вспарывал незваные им облака и тучи, стараясь дотянуться нежной молодой порослью до небесной выси.

Ефросинье не спалось. В голову лезло всякое: «Пашка стал приезжать реже. Лицо невеселое, виноватое, хоть и хвалится успехами в учебе и боксе. Давно уж денег не берёт — сам привозит полные сумки продуктов. Откуда у бедного студента такие деньжищи на гостинцы?»

Пробовала допытаться, но, бесенок, отшучивается. «Ой, не свихнулся бы на плохое. Вроде, не долгон. Остается верить на слово».

Ефросинья прервала раздумья. Что-то тяжелое ударилось об оконную раму в горнице. Зажгла свет. «Стекло, слава Богу, цело. Вот напасть-то. Кого нечистая принесла на утренней зорьке?».

Накинув поверх ночной рубашки пуховый платок, резво выскочила на улицу. Туманное утро едва обозначилось над тайгой. Под окнами горницы увидела окровавленную птицу. «Никак ослепла, сизокрылушка, не видишь, куда летишь? — пожалела ее Ефроси-

нья. Подняла за крыло: «Не распознать. Боже мой, как ты расшиблась! В кровушке вся. На грудке косточки переломаны. Видать, сердце ими задето, оттого миг околела. К добру ли мне это или к худу?»

Перекрестилась. Взяла у поливальной бочки лопату. «Покойся с миром», — и закопала вещунью под корни ветвистого барбариса.

Потом, задержавшись на крыльце, долго смотрела на светлеющее небо, еще усыпанное россыпями мерцающих звезд. «Благодать им. Таинством да чистотой блестят. Все видят, знают про нас. Как не знать-то: рядом с Творцом и мы были бы святыми. А тут за долгую жизнь такой грязи нахлебаешься, стыдно глаза к небесам поднять. Предки наши жили проще, чище: чтили Бога, себя блюли».

Босые ноги стали стынуть, и хозяйка заспешила в тепло. Достала из печи чугунок с отваром марьиного корня. Налила полстакана, погрела в ладонях, пожелала себе здоровья и выпила. Недавно узнала от местных знахарей про лесные пионии. Говорят, пионии нервы успокаивают. «Отчего боле не спится мне? Ясно, от нервов. Где им, бедненьким, крепости было набраться? Никакого покоя со мной не видали. Только и пожила в своё удовольствие девочкой Фросенькой у деда Георгия. Душа до сих пор ликует, помнит, как дедуля любил да баловал».

Грустно вздохнув, пошла в спальню.

Отвар не помог. Не дождавшись сна, Ефросинья для душевного равновесия вновь предалась далеким воспоминаниям о корнях своего рода — земном истоке под крышей дома, где родилась и доживает кем-то предначертанные ей нелегкие годы.

«Какой ныне день-то?». Она встала с постели, подошла к календарю. «Память никудышная, дырявая! Воскресенье. Если внук не приедет, в церковь схожу. На стол поминальный узелок соберу. Оплачу родных, свечки поставлю. Все Красины уж на том свете. Мы с Настей да Павлом одни здесь остались. И чует душа моя, Павлушка вот-вот объявится. Нафарширую блинчиков с творожком. Любит, бес, со сметанкой их трескать», — и растопила печь.

Последнее время постоянно вспоминала родственников. Постылое одиночество скрадывалось, наполнялось содержанием их жизней: дорогих, близких чувственной душе Ефросиньи и прожитых красинцами с завидным размахом, удалью, в праведных трудах.

Красинские мужики, наделённые от роду силой и красотой, назывались местными невестами самыми желанными. В холостяцкой вольной жизни они ни в чём себе не отказывали. В шумных утехах, увеселениях во всю ширь русской души меры не знали. Но к тридцати годам, к женитьбе, вдоволь нагулявшись, утихомиривались, успокаивались, становились толковыми хозяевами, степенными мужьями. Их семьи жили зажиточно, ни в чем не нуждаясь. Достаток добывался мозолистой деревенской и таежной работой, природной сметливостью, деловой хваткой. Про Красиных в Спасском говорили: «У них голова и руки из нужных мест растут».

В давние царские времена, Порфирий и Егор Красины числились в казачьей вольнице. Старший Порфирий дослужился до есаула, но, по причине мужской болезни, семью не заводил. Жил вместе с младшим братом Егором, помогал ему поднимать многочисленное потомство из двенадцати мальчиков — погодков и

единственной дочери. Сам Александр Васильевич Колчак был наслышан о многодетном казаке Егоре. Одобрял его. От себя лично подарил ему несколько тюков добротной материи, стельную тёлку и жеребую лошадь-трёхлетку. Перед началом гражданской войны и развертыванием белого движения в Сибири братья перешли на сторону Красной Армии. В то смутное, непонятное время такое случалось в казачьих войсках нередко. Но долго воевать им не пришлось. В жестоких боях под Красным Яром оба получили тяжелые ранения. Ослабленных, испитых до дна болезнями, не пригодных для боевых действий, их демобилизовали и отправили домой. Умирать. Но несгибаемый сибирский дух, закалка, бывшее крепкое здоровье распорядились с Красиными на свой лад: постепенно они оклемались, поздоровели и прожили более десятка лет в родном доме. Кормили их тайга, речка, работа в лесничестве. К началу сороковых годов возмужало, встало на крепкие ноги третье поколение Красиных, потомственных лесничих.

2.

В семье одного из отпрысков Егора Красина — Георгия народилось семеро сыновей и три дочери. Парни были обучены лесному делу и разъехались по леспромхозам края и Приангарья. Статных и пригожих дочерей посватали солидные городские женихи, справили в селе богатые свадьбы и увезли навсегда из таежной глухомани. В доме с Георгием остался младший сын Иван с женой Полиной, тремя сыновьями и дочкой Ефросиньей. Дед

любил внучку Фросеньку так, будто в этой жизни, кроме нее, никого более дорогого сердцу и не было. После смерти жены Матрены ни с кем из домочадцев говорить не хотел. Только с внучкой Фросей, как прежде, весело болтал, смеялся. Весной 1941-го ему исполнилось шестьдесят, но выглядел он моложе. Его большое, хорошо сложенное тело переполняли недюжинная сила, завидная привлекательность зрелого мужика. Контрастные краски лица: большие глаза сочной майской синевы и словно слегка подкрашенные лесной малиной губы тонко передавали состояние души. Густые брови, черной щетиной свисающие со лба, несколько не портили его внешность. Хорош! Такой мог бы и на молодухе жениться. Но отрекся навсегда от всяких утех. Только непоседа и выдумщица внученька Фросенька составляла теперь его земное счастье. Он щедро делился им с любимицей. И она в дедушке Георгии души не чаяла. С нетерпением ждала у ворот его прихода с работы, а дома ни за что не хотела разлучаться с ним.

— Дедулька, ты у меня самый добренький и послушный, — беззаботно лепетала она, успев забраться к нему на колени, когда тот на считанные минутки появлялся из леса перекусить.

Тогда Полина брала в руки полотенце, легонько шлепала им по вихрастому затылку дочки.

— Ах, ты шалунья этакая! Скоро заневестишься, а все на дедушке едешь. Дай ему хоть поесть спокойно. Вот я тебе задам, коза шкодливая!

— Не тронь внучку, Поля. Не мешает она мне. Без нее и жить-то вовсе бы не хотелось, — Георгий ласково трепал Фросю за румяную щечку.

— Деда, учительница сказала, я перейду в третий класс круглой отличницей.

— Славно, это по-нашенски, по-красински! Придется мне в район за подарком ехать. Чего хочешь-то?

— Ой, не балуйте ее, тятя. Ведь меры в хотениях и стыдливости перед старшими, как бывало, мы, не знает, — предостерегала свекра Полина.

— Дед, а у тебя денег на велосипед двухколесный хватит? — не унималась бесстрашная Фрося. Георгий на минуту задумался.

— Во, куда тебя занесло! Как ты про него знаешь-то? Отродясь в селе ни у кого такого чуда не видывал. — Дед смотрел на Фросю с любопытством, изумлением и гордостью.

— Он в букваре нарисован. Мальчишка на нем едет. Велосипед, деда, похож на железного коня. Только без хвоста. Чтобы на нем ехать, надо ногами педали крутить, понял?

— Понял-то, понял, но ты же девочка. Зачем тебе конь, да еще железный?

— А девчонкам что — нельзя?!

— Я давно говорю, наша Фрося от скромности не умрет. Ишь, чего надумала, бесстыжая! Прекрати сейчас же! — Мать не на шутку повысила на дочку голос и опять схватилась за полотенце. — Упаси, Боже, слушать ее, тятя! Экая дороговизна, неслыханная. Ну, как разобьет его, с горок-то катаючись?

Георгий допил кринку холодного молока, пощекотал Фросину тонкую шейку, поцеловал и бережно опустил свою драгоценность на пол.

Уходя, весело подвел итог разговору:

— Будет тебе, дедова отличница, к лету велосипед.

Георгий Красин и лес были неразлучны. Свои первые шаги годовалый крепыш Гоша совершил самостоятельно, идя по травянистому подворью к кедр.

К кедр! Тогда мать Арина отметила: «Еще один лесничий встал на ноги».

Подрастая, Гоша уходил от дома в бор все дальше и дальше. Отец предостерегал его: «Смотри, заблудишься. Тайга — дело не шутейное. Не каждому взрослому по силам, а ты совсем еще мал». Но Гоша настырно с утра до ночи пропадал в бору. Тогда отец решил обучать его охотничьим навыкам выживания.

Учебу закреплял практикой. Бывало, покружит сынишку, как юлу, и оставит одного в густом ельнике. Якобы, домой уйдет, а на самом деле, издали, таясь, следит за мальчонкой. «Вот пострел! В школу не ходит, а уж с лесом на «ты». Не боится! В деда Прокла пошел. Тот из любых дебрей во все времена года короткий путь к дому находил. Казаки шутили: «У Прокла и зипун-компас».

Гоша, осмотревшись вокруг после отцовской прокрутки, домой не спешил. Брел медленно, ел землянику. Высматривал кустики голубики да черники: любил эту ягоду больше всякой другой. Ковырял палкой выпуклости на хвойной подстилке, ища груздочки. Задирали голову к верхушкам деревьев.

Останавливался у лесных «патриархов», доживающих свое последнее столетие и дающих приют дупловым птицам.

Подражал свисту рябчиков и манил их за собой. Потрепал сиво-зеленую бороду дородной ели, свисшую до самой земли. Поскреб и попробовал на язык

лишайник на ее потрескавшейся коре. Потом достал из короба кусок рыбного пирога, доел его. Посмотрел на солнышко и уверенно зашагал в сторону дома.

Егору пришлось поспешить, чтобы встретить сына у ворот.

Любимицу Фросеньку Георгий тоже стал приучать к тайге с раннего детства. Учил понимать непростой норев леса, знать разноликую, многоукладную жизнь зверей, птиц, разных букашек под его щедрой кроной.

— Деда, а когда пойдем за распадок сойку слушать?

— Так в воскресенье. Будни-то заняты. А пока сбегай-ка к нашему кедру, да посиди там тихохонько, посмотри и послушай. Потом расскажешь, кто прилетал и что делал.

Ранним утром Георгий заметил пару спящих по подворью чернокрылых кедровок прошлогоднего выводка с выраженными белыми полосками в конце сизых хвостиков. Он с интересом понаблюдал веселую суету птиц у нового гнезда, уже обустроенного ими на молодой ветке кедра. Высоко от земли, в метрах десяти. По этой причине их в тайге найти трудно. А тут, надо ж, поселились прямо на глазах у людей. Порадовался.

Не прошло и пяти минут, как с горящими во все лицо глазами к нему вернулась Фрося:

— Деда, там две птички свили гнездышко. У них черная головка и длинный клювик. Они меня не боялись, деда, и все кричали «грей-грей». А гнездышко их — у самого небушка. Ты у забора лестницу забыл, так я

по ней лазила, чтобы гнездышко увидеть. Руками, деда, его никому не достать. И с лестницы нашей тоже.

— Это кедровки, внученька. Гнездо их и взрослому-то человеку высмотреть трудно, а ты у меня, смотри-ко, кака востроглаза, отыскала таки. А теперь отнеси-ка им кедровых орешек. Они страсть, как любят их щелкать.

— Я тоже орешки люблю. Ты их совсем мало осенью из тайги наносил.

— Так не каждый год этот дар Божий людям и разному живью на лакомство дается. Стало быть, не уродились. Да ты не жадничай! Зачерпни орехи ковшиком из короба и рассыпь под кедром. Птички, поди, за зиму оголодали в лесу и к добрым людям на подворья пожаловали. Ты, Фросенька, не забижай их, подкармливай. Им еще деток надо выходить...

— Деда! А у птичек этих есть дедушки? И где они живут?

Георгий давно перестал удивляться Фросиным нескончаемым и подчас непростым вопросам. Старался отвечать на них правдиво, но так, чтобы внучка тоже участвовала в поисках ответов.

— А ты сама-то как думаешь?

— Я думаю, птичкам-дедушкам так высоко на кедр не взлететь. Они старенькие! Наверное, пожевились с птичками-бабушками и живут в норках.

— Вот так сообразила! Знай, в норах — звери живут. К примеру, лисички, соболя, мышки...

— А, помнишь, сам говорил мне про ласточкины норы?

— Фросенька! И не только ласточки, а многие птицы, что у берегов живут, коготками роют себе

длинные норки. Так это ж не в тайге! А в глинистых и песчаных обрывах. Такие птички так и зовутся прибрежными. И еще скажу. Рядом за рекой, в Саянах, водится другая ласточка. Она очень похожа на береговушку, но гнездится в скалах и глубоких ущельях высоко от земли. Ее называют— скалистая. Но, чтобы таежные кедровки да в норах жили! Тут твоя фантазия, внученька, совсем никудышно сработала.

— А ты, дедуля, залез бы на такую верхотуру, как наш кедр?

Фрося настойчиво пыталась отстоять свое мнение.

— Птицы, Фрося, на то и птицы, чтобы летать. А мы, люди, по земле должны твердо ходить, все уметь и все знать. Чтобы малым братьям лесным вовремя помочь, когда их нужда прижмет.

Задумался: « Так ли дитю объяснил?»

— Деда! А если я насыплю кедровкам орешков, они и дедушкам своим понесут их в клювиках?

— Конечно, понесут! Птички добрые, заботливые, подельчивые.

Девочка сорвалась с места, побежала в летнюю кухню. Через минуту понесла кедровкам полное сито орехов.

— Деда! Я тоже буду кормить и птичек, и птичковых дедушек.

Сердце Георгия, безраздельно принадлежавшее этой громкоголосой говорунье, затрепетало радостной, бесконечной любовью к ней. И не только любовью, но и восхищением не по годам сметливой, жалостливой щебетухой.

Оставшись вдовцом, Георгий не давал себе передышу. С головой окунулся в лесную работу, бесконеч-

ные дела на подворье. В нем словно второе дыхание открылось.

Поднимался с восходом солнца, выпивал ковш хлебного кваса, брал приготовленную Полиной корзину с едой, ружье, болотные сапоги-вездеходы и уходил до заката в тайгу. Ему, опытному лесничему, была поручена выбраковка хвойных пород. В первую очередь, ангарской сосны и лиственницы.

В мае начинался строительный сезон. В контору пачками приносили телеграммы на предоставление строителям делян под вырубку. Не меньше их было и от промышленников. Бывало, по два-три дня так и ночевал в лесном «кабинете» под звездами на лапнике у старого кедра или пихтушки, чтобы вовремя самому управиться и дать возможность поскорее зашуметь лесоповалу.

В обычные дни возвращался из тайги, когда уже медлительное летнее светило повисало на розовых верхушках деревьев. Перекусив, торопился в кузницу, обустроенную им для всех потребных случаев и расположенную для удобства клиентов в углу подворья, недалеко от ворот. Там кузнеца поджидали со всякой хозяйской нуждой деревенские бабы и мужики. Отказу никому ни в чем не было.

Особой гордостью Георгия были чугунные ворота для подворья. Они дались ему с большим трудом, напряжением ума и воображения. Он ваял их, не делая эскизных набросков. Ворота получились нарядными, с причудливыми, летящими узорами. Позавидовали бы и вологодские кружевницы. Весной красил их чёрной краской, от чего узорный рисунок ещё ярче выде-

лялся на фоне янтарного дома. Семья была в восторге от дедова мастерства и назвала ворота «парадными».

Иван с сыновьями, помимо постоянной работы в лесничестве, охотничал, рыбачил, растил домашнюю скотину и птицу.

Младший, Павел, с раннего детства любил лошадей. После окончания лесного техникума дед с отцом подарили ему пару породистых вороных: жеребца Сокола и подругу — двухлетку Звездочку, выменяв их у проезжего цыганского барона за три медвежьих шкуры и два десятка баргузинских соболей. Уход и ласка сделали своё доброе дело. Вскоре Сокол и Звездочка влились в трудовую красинскую артель.

На семейном совете решили, что Павел должен продолжить родовую династию и поступить в лесной институт. Днём он пропадал в тайге, а по вечерам, обложившись книгами, допоздна засиживался в горнице. Вездесущая сестренка Фрося жалела его: у Павлуши, умного и доброго, нет девушки. Зато у старших братьев их хоть отбавляй.

Николай и Петр были двадцати семи и двадцати пяти лет от роду. Трудолюбивые, богатырского сложения парни отслужили в армии и теперь помогали отцу. Редкими свободными вечерам наверстывали упущенные радости, не теряя времени попусту. Фрося знала, где и с кем они встречаются. Следила за ними, в чем успешно ей помогала соседка Нюра, рано заневестившаяся и обойденная вниманием соседских красавцев. По малолетству, недопониманию и с Нюркиной подсазки, Фрося ябедничала деду о похождениях братцев. Тот делал вид, что занят работой

и не слушает муху-стрекотуху. Однако Фрося скоро раскрыла зловредный замысел корявой толстушки. Доносы прекратились. Но тайная слежка, уже без Нюрки, продолжалась.

При удобном случае Фрося намекала братьям: знаю, мол, про ваши гуляния с плохими тётями и расскажу матери. Братья делали перепуганный вид, клялись любимице впредь быть паиньками.

Когда у девочки появился велосипед, интересы ее поменялись. Наспех выполнив поручения матери по дому, она выезжала на главную улицу села и день ото дня оттачивала мастерство скоростной езды с препятствиями. Из под шумных колёс её велосипеда едва успевали унести ноги прежде никем не пуганные, бесчисленные утиные семейства с выводками. Мамы-утки возмущенно обкрякивали Фросю за вторжение на территорию выпаса. Отношения с папами-гусаками складывались у нее и того хуже. Самолюбивые, воинственные птицы разбегались, взлетали над травянистой дорогой и, неистово гогоча, гнались за «агрессором». Иногда им удавалось с лёту ущипнуть Фросю за спину или плечи. Синяки у нарушительницы гусяного спокойствия не сходили до зимы. Только обильный снегопад закрывал сезон ее велоконок.

Многие селяне удивлялись диковинному транспорту, глядя на смелую наездницу. Она привлекла внимание и любителей деревенских завалинок. Вскоре до Полины дошли слухи о «подвигах» дочери с подробным перечислением её «побед»: сбила теленка, задавила поросят, кур несчитано. Мать, не вдаваясь в долгие разбирательства, сняла со стены ремень.

Надежный лекарь ребячьих мозгов предназначался для образумления братьев в их далеком детстве и давно висел на гвозде не востребованным.

— Ты чего натворила, коза бодливая? Полсела в убытке, а ты и в ус не дуешь. Для начала хорошенько выпорю тебя, а убийцу твоего железного спущу с обрыва в реку. Как людям в глаза смотреть? — И, не дожидаясь отчета дочери, ничего не понимающей, испуганной, замахнулась на нее ремнем. Но кто-то сзади крепко ухватился за него. Полина оглянулась и встретила с гневными глазами свекра.

— Поостынь-ка малость, — он резким движением вырвал у невестки ремень. Внучке велел подождать у ворот. Их разговора Фрося не слышала.

Дед не задержался, и они вдвоем поехали на велосипеде по указанным матерью адресам пострадавших. Список был длинный, но Георгий с внучкой успели везде побывать. Оказалось, никто из сельчан не был в обиде на девочку, и никак не пострадали питомцы спасских подворьев.

Домой вернулись вечером. За семейным ужином дед весело пересказывал надуманные истории. В заключение любительнице быстрой езды строго наказал:

— Смотри, Фрося, в оба, куда едешь. Жалей всех, кто пешком идет. Они тоже, может, хотели бы ехать, да возможности пока нет. Когда велосипеды купят все, обязательно купят, то и сплетни сочинять будет незачем.

Помолчав, пояснил ей и причину возникшего недоразумения: от зависти человек злеет.

За столом семья сидела допоздна. Обсуждали грядущие дела. Главным определили сенокос. Но время распорядилось за Красиных иначе. Жестоко и безвозвратно.



Это был последний тихий, теплый, ласковый вечер перед началом войны.

3.

22 июня 1941 года в один миг перевернулись судьбы. Первыми на фронт забрали Николая и Петра. Спустя месяц, проводили отца, потом деда с Павлом.

Никто из них живым не вернулся.

После похоронок на Георгия и трех сыновей Полина слегла от горя и вскоре обезумела.

Фросин отец погиб в Литве, похоронка на него пришла в канун нового 45-го года. Пятая в доме Красиных. Мать к тому времени уже не вставала с печи, ничего не помнила, не понимала, но продолжала спрашивать у Фроси и почтальонки, подруги Дуси, изредка навещавшей По-

лину, нет ли от свекра, Ивана, и сыновей писем? Хозяйство давно легло на плечи Фроси. Как могла, берегла корову. Кормила и поила, меняла соломенную подстилку, разговаривала с Красавкой, единственной их кормилицей. По веснам высаживала в огороде картошку. Летом набирала на зиму черемши, ягод, грибов. Этим и были живы. Чтобы поддержать истощенную, умирающую мать, дочь за ведро ржаной муки отдала последнюю в доме ценную вещь — велосипед. Но мать таяла на глазах.

За две недели перед кончиной ничего не ела, лишь выпивала в день несколько глотков молока. В конце февраля, поздним вечером, Полина неожиданно пришла в полное здоровое сознание, подробно расспросила о свекре и сыновьях, плакала, словно впервые услышала об их гибели. Долго молчала. Не было сил говорить. Потом еле слышимым голосом сделала Фросе наказ:

— В дом чужих не прймай. Не маленькая, сама прокормишься. Даст Бог, из наших кто с Иваном вернется.

Фрося не решилась сказать матери правду об отце. Мало ли ошибок случается на войне?

— Жди, надейся. Замуж, за кого попало, не выходи. В красинской родове ветродуев да басурман не бывало. И ты блюди это. Держись за корову. Травостой встанет, сено на зиму серпом жни. Носи с опушек и суши на подворье. Складывай на сеновал небольшими копнами. Не загниет. Красавке вари картошку в мундирах. Дождетесь конца войны, там жизнь подскажет. Бога не забывай...

После этих слов мать затихла.

Фрося никогда не видела покойников. Ей стало страшно. Наскоро одевшись, побежала в село к людям. Пришли женщины из леспромхоза и сельсовета. Принесли на поминки пшенной крупы, несколько банок откуда-то взявшейся американской тушенки, соли и спичек.

В Спасском в ту зиму стояли злющие морозы. По-земка мела днем и ночью. Сугробы спрятали высокий забор вокруг подворья. До кладбища везти покойницу было не на чем, да и некому. Из взрослых мужиков в селе остался старенький, больной директор леспромхоза Степан Матвеевич Рыжиков, но и он уехал с проверкой на лесоповал.

Женщины выкопали могилу в ближайшем сосняке неподалеку от дома и похоронили Полину. До позднего вечера они сидели за поминальным столом. Плакали, делились горем, не обошедшем ни один спасский двор.

— Ты, Фросенька, людей держись. Поможем сиротке. — И разошлись по домам. Оставшись одна в большом холодном доме, девочка старалась во всем следовать материнскому слову. «Как выжила, голодала, натерпелась страха,— часто вспоминалось Ефросинье. — Да что я? Всех война съежила и подкосила».

Люди предлагали ей деньги, еду, но понимала: отдают последнее, и не брала. Всякой русской душе жить в долг боязно. И Фрося такая: кроткая, совестливая, терпеливая. Только доверившись семье Рыжиковых, давним приятелям отца, нашла в их добром участии облегчение своему невыносимому су-

ществованию. Она давно выросла из довоенной одежды. Доносила мамины платья и пальто. От скатанных дедом валенок остались голенища, к которым, как могла, пришила отцовские галоши. В морозы наматывала потолще старых тряпок, отчего ноги едва втискивались в самодельную обувь, нестерпимо мерзли. Не в чем было ходить в школу, нечем топить печь.

Рыжиковы привезли Фросе дров, сушеной сохатины, спички. Галина Семеновна поделилась с сиротой теплыми вещами. На день рождения сшила первое в жизни девочки нарядное платье. Степан Матвеевич подарил имениннице поношенную телогрейку и аккуратно подшитые валенки. Они были не по размеру, зато тёплые. Старики, плача вместе с Фросей, просили потерпеть нужду и обязательно одолеть седьмой класс. Уходя, Степан Матвеевич пообещал:

— Окончишь семилетку на пятерки, устрой в леспромхоз. Красины все здесь начинали и заканчивали свой трудовой путь. Нам нужен счетовод в бухгалтерию. Тебя подождем.

Летом четырнадцатилетняя Фрося уже работала. Получив первую зарплату, расплакалась: и малые деньги казались ей несметным богатством. Следующим летом, по настоянию Степана Матвеевича, она поступила на заочное отделение лесного техникума. Так, постепенно, он вывел её на проторенную красинской династией дорогу: она стала лесничим. В те годы многие сибирячки разделили с Фросей нелегкий таёжный хлеб.



4.

Закончилась война, а мужчин в селе заметно не прибавилось.

Истосковавшиеся по крепким мужским рукам и ласкам, женщины сходили с ума. Нарасхват были и вовсе никудышные мужички: инвалиды, пьющие, бездельники.

Осенью появился в Спасском из дальних мест, из Вологды, уже не молодой Михаил Иванович Слепцов. Смуглый, рослый, в офицерском кителе с орденской планкой на груди. Он сразу попал в обойму мужиков, за которыми в очередь толпились засидевшиеся невесты и молодые вдовы.

Слепцов приехал в леспромхоз, чтобы поднять его с колен. Сменив Степана Матвеевича, инвалида и пенсионера, он начал быстро наверстывать упущенное за годы войны.

В селе безработных не осталось. Новый директор не давал продыха ни себе, ни коллективу. Строгий, громкоголосый, безжалостный, с раннего утра до позд-

ней ночи лично принимал работу на участках и в бригадах. Заставил работать по-стахановски. Таково, говорил, требование времени: страна возрождается из руин. Строевой лес, пиломатериалы нужны позарез.

Трудились в две-три смены. Рабочие месяцами не имели выходных. Но в Спасском это было единственное предприятие, где люди зарабатывали себе на кусок хлеба. Приходилось терпеть.

Ночью Фрося, едва успевала управиться по дому и спешила до рассвета попасть на свой участок. Не дай Бог, опоздать. Нарушение дисциплины каралось законом. Михаил Иванович был горяч на расправу, и ей не хотелось подводить Степана Матвеевича. Благодарная девушка помнила, как он достойно представил Слепцову ее и всю красинскую династию.

Вскоре стала замечать: директор старается добраться до ее лесных владений к концу смены. Не раз предлагал отвезти домой. Однажды напросился на чай. Она заварила его по маминому рецепту: с лесными травами, кореньями, шиповником.

— Сам вырос в лесу, но такой вкуснятины не пробовал, — нахваливал он ароматный Фросин напиток, выпив чуть ли не до дна двухлитровый чайник.

— Молодец! Всюду успеваешь: и дома порядок, и лесничеством руководишь, не хуже мужика. Давно приглядываюсь к тебе. Имею серьезный разговор, но все некогда личными делами заняться. Давай, в первый же выходной сходим в кино? Билеты за мной, — сказал он и лукаво подмигнул. Фрося растерялась, так ничего и не ответив. Такого Слепцова она не знала.

Выходной дали только в следующем месяце. У Фроси накопились неотложные домашние дела. К

тому же после обеда запланировала сходить к Степану Матвеевичу. Его поддержка, советы для нее дороже всего на свете. Справилась с хозяйством, приготовила гостинцы. Набралась полная корзина. «Ноги у обоих отказывают. В тайгу нет сил ходить. Надо лечебных травок, грибочков, ягод да черемши отнести. Моих заготовок на полсела хватит. В доме приберусь, баньку истоплю, намою их», — рассуждала Фрося.

Ближе к полудню услышала стук в дверь. «Никто не должен был прийти». Сердце беспокойно екнуло.

— Не закрыто. Заходите!

Вошел Михаил Иванович, краснощекий, улыбающийся. Его свежесбритое лицо светилось. В прихожей сразу стало тесно. Запахло морозцем и овчиной. Он стоял, робея пройти дальше и наследить мокрыми валенками на выскобленных добела половицах.

— Собралась Рыжиковых навестить. Ходить не могут, суставы опухли. Надо им помочь. С работой без выходящих совсем стариков забросила. Знаете, наверное? Горе у них. Сына перед самым концом войны убили, а похоронка недавно пришла. Был единственным.

— И мне последние месяцы её, проклятой, порвали в клочья сердце, — лицо Михаила Ивановича погасло, потемнело. — Погибла под Берлином жена... — Тяжело вздохнув, добавил: — В бою за Варшаву в танке сгорел сын.

— Ох, сочувствую. Мне эта боль знакома.

— Ты тоже хватила лиха. Наслышан. Степан Матвеевич к тебе по-отечески относится, переживает за будущее. Про вашу красинскую семью полдня рассказывал. Это же надо! Пятеро мужиков загубила

война. Пя-те-ро! И я сочувствую тебе, Фросенька, сочувствую. Обескрылили нас родненькие наши, одних оставили.

Помолчали. Каждый думал и горевал по родным душам. Оторвавшись от раздумий, Михаил Иванович предложил до кино побывать у Рыжиковых. Фрося радостно засуетилась. Поправила причёску, быстро оделась.

В доме Степана Матвеевича готовились к обеду. Фрося выложила гостинцы.

— А не принять ли нам по сто граммов водочки? — предложил хозяин дома. Гости поддержали его. Михаил Иванович встал. Пальцы, держащие рюмку, заметно дрожали.

— Мы с Фросей решили побывать у вас. Правда, по разным причинам. Скажу о своей. — Он закашлялся, нервно переступал с ноги на ногу. — Хочу осмелиться и попросить при вас, Степан Матвеевич, Галина Семеновна, руки и сердца у Ефросиньи Красиной.

Девушка залилась румянцем. Ошеломленная, с укором смотрела на Слепцова. «Наедине со мной ни о чем таком не говорил, а тут на тебе, неловко как-то». — Повторяю тебе, Фрося! Стань моей женой! — и, не дожидаясь ответа, может, от волнения, предложил супругам Рыжиковым быть на их семейном вечере посаженными родителями.

— Родных у нас с Фросей нет, — в его глазах блеснули слезинки. — Что ты ответишь мне, Фрося? — В третий раз спрашивал он, но Фросин язык, словно к небу прирос. По лицу потекли быстрые, неумные слезы.

— Ну, красавица, мы со Степаном Матвеевичем ждем ответного слова,— заполнила нежным певучим голосом неловкую паузу Галина Семеновна.

Девушка пришла в себя, вытерла ладошкой мокрые щеки, поднялась со стула.

— Замуж не собиралась, не за кого было. Но и предложение Михаила Ивановича очень для меня неожиданное.

— О чем тут долго думать, солнышко ты мое? Одобряю Михаила Ивановича и его выбор, — тихо, но убедительно сказал Степан Матвеевич. — Родные твои, душой слышу, тоже бы его посоветовали. Решайся, девка, решайся. Такого завидного жениха в нашем медвежьем углу скоро не сыщешь.

Ласково и назидательно он подводил ее к согласию.

Девушка плакала.

— Мама не велела торопиться с замужеством. Не встречались по-людски, не знались близко, ни разу не целовались даже и — жениться! — всхлипывая, выговаривала им не к месту Фрося.

Но, чувствуя повисшую над столом неловкость, взяла себя в руки. Утерев слезы, тихо произнесла:

— Я согласна.— Помолчав, как бы про себя, вслух добавила. — Может, и полюблю.

Ей тогда исполнилось восемнадцать, жениху — сорок. Они расписались в сельсовете. Без свидетелей, буднично. Фрося фамилию не поменяла. Михаил Иванович перенес фронтной чемодан из леспромхозовской гостиницы в красинский дом.

5.

С самого начала семейная жизнь Ефросинье медом не показалась. Стосковавшейся по общению Фросе хотелось говорить с мужем и говорить. Она радостно носилась по дому, успевая переделать уйму дел. Стыдливо, неумело прижималась, ласкалась к читающему газеты мужу. Но он не улавливал полета Фросиной души, неумных, нежных ее чувств. То ли стеснялся, то ли не понимал. Быстро уставал, скучнел, как улитка, отгораживался от молодой жены непроницаемым панцирем, оставляя наружу колючие, отталкивающие глаза.

— Угомонись ты. Не дитя малое, извертелась вся.
— Михаил Иванович пересел в угол под божничку, где на его голову складывались гармошкой длинные полотенца. Фрося срисовала из журнала и вышила на них крестиком голубей с ветками оливы в красненьких клювиках.

— Побаловаться что ли нельзя? Видать, еще не наигралась я. — Фрося обиженно фыркнула.

— А мне не до игр. Все тело ноет. Напрыгался за день в санях по лесным заносам. Не успеваем пробивать дороги к просекам. Лошадь по брюхо тонет. Вот и приходится помогать ей самой через сугроб переносить и сани вытаскивать. А снег валит и валит. Да и от семейной суеты-маяты за годы войны отвык.

— Может, в сарай вместе ходим? Надо стайки почистить, сена в ясли натаскать, подстилки сменить. Совсем скотину загубим. У коровы бока уж занавози-

лись. С кедром побеседуем, — именно у кедра ей хотелось сообщить мужу о своей беременности.

— У меня дел невпроворот. Если тебе самой подворье не под силу — раздай животину по селу.

— А что есть будем? Это тебе не город: мяса в магазине не купишь, и базара нет.

— Тайгой как-нибудь проживем, — уже сердито буркнул Слепцов.

— Что-то не видела в твоих руках ружья или сети.

— Некогда мне. И на эту тему говорить больше не намерен.

Он сгреб со стола газеты и, шаркая рваными тапочками, направился в спальню. Фрося, одевшись в старье, вышла на подворье.

Крепкий мороз с ветром обжѐг лицо. В начале марта саянский хиус, «саянец», часто предвещал снежные метели. «Надо наносить сена дня на два-три, а то зимушка расстарается — к сеновалу не доберешься», — и с присущей ей сноровкой взялась за работу. Через пару часов управилась с делами.

С малиновым румянцем на бело-розовом лице, пышущая здоровьем и что-то чудное ощущающая в себе, подошла к кедру: «Тебя и не признать вовсе. Дивом стоишь, вровень с небом. Заснежился, искришься весь в лунном мареве чудными, сказочными бликами. Незримой силой тянешь к себе — мимо не пройти. Ну, так поговори, коль зазываешь. Сказов — рассказов об нас, Красиных, в тебе — век не переслушать. И прадедов моих знавал при их еще молодой силушке».

Ефросинья замерла, словно перед великим таинством. Вслушивалась в скрипучий перезвон тяжелых

ветвей, в ворчливые, едва уловимые колебания могучего ствола под усиливающимися порывами ветра. Ритмичные, свистящие напевы кроны выстраивались октавами в протяжный, клокочущий, воющий и стонущий разноголосьем набат надвигающейся метели.

Кедр раскачивался в белой зыби близких звезд, завораживая и пьяня лесную мечтательницу. Казалось, на рваных, убаюкивающих волнах она вся уносилась в неведомую и желанную даль, покорно растворяясь в морозной ночной мгле. Но, почувствовав холодок между мокрых лопаток, Фрося стряхнула с себя вязкую отрешенность.

Добралась до нижних лап кедра, раздвинула их и грудью прижалась к шершавому стволу: «Знай, кедрушка, как оно стучит за двоих. Во мне жизнь новая к свету пробивается. Не говори об этом никому».

В дом она вернулась за полночь. Михаил Иванович не слышал ее возвращения.

Летом родилась дочь, Анастасия Михайловна Слепцова. Молодой маме забот добавилось, но несравнимо больше добавилось неумемной, жизнеутверждающей радости. Но душевного покоя не было, а надежды на счастливую замужнюю жизнь рушились и таяли.

Муж не старался быть опорой, той горой, за которой ей хотелось бы спрятаться. И дочка не сблизила их, не сроднила. С Михаилом Ивановичем Фрося по-прежнему чувствовала себя подавленной, зависимой, словно ее лишали свежего глотка воздуха и воли. Нервный, неласковый, он и дома оставался для нее директором. Его не интересовали ее тревоги и радос-

ти. Без отцовского внимания, участия, любви оставалась и подрастающая дочурка. Лишь изредка он брал Настеньку на руки. От редкого общения с отцом, малышка начинала плакать, перепуганно тянуть ручки к матери. Слепцов раздражался, поспешно клал дочку на кровать и выговаривал Фросе, что не причает ребенка к отцу.

Он мог неделями не разговаривать с женой или начинал истерично кричать, когда она в чем-то перечила ему. Фрося понимала, таким его сделали война и потеря семьи. Но уже не переносила бесконечных ссор, крика, терялась в бессилии перед ним. В красинском доме, сколько помнит, мужчины не ругались с женщинами. Может, напрасно глубоко в себе затаила семейные обиды, недомолвки, страхи и давно надо было дать супругу отпор? Все надеялась, когда-то посмотрит на себя со стороны, устыдится, повинится и станет, наконец-то, пускать корни на плодородном и благодатном красинском подворье. Нет.

Постепенно Фрося поняла: из «завидного жениха» завидного мужа не получилось, хотя селянки откровенно завидовали ей. Слепцов продолжал жить отдельной, только ему понятной жизнью. Наслаждался трудовыми успехами леспромхоза, похвалами начальства. Страдал и побеждал. Всегда на острие событий, в центре людского внимания. Один, без Ефросиньи. Большая ли разница в возрасте, жизненном опыте, или что-то другое пропастью встало между ними. И мост через стремнину навстречу друг другу они не строили.

После родов Ефросинья поправилась, похорошела. Селяне находили ее сходство с дедом Георгием,

называли красавицей. Она и была ею: статная, белолицая, с пышными светло-русыми волосами.

Михаил Иванович же будто и не замечал ее молодости и привлекательности. Наоборот. Ефросинья часто ловила его откровенные взгляды на других хорошеньких женщинах во время посещений кино или праздничных застолий. Случалось, и ночевать домой не являлся. Объяснял выездом на дальний лесоповал с комиссией из района. Мог бы записку в конторе оставить. Фрося в конце рабочего дня обязательно заходила в бухгалтерию с отчетами. Но муж не считал нужным объясняться.

Как-то, после очередной «ночной работы», они поссорились. Михаил Иванович полез в драку. В рабочей красинской семье такого себе никто из мужиков не позволял.

Фрося готовила ужин, когда он набросился на нее с кулаками. Впервые она рассвирепела. Схватила попавшееся под горячую руку полено. Слепцов в бешенстве выскочил из дома и два дня не появлялся. Но после этого случая, никогда уже не пытался дурную силу выместить на жене.

Не раз она пробовала поговорить с ним по душам, объяснить. Но Михаил Иванович опять и опять поднимал истеричный крик, обвинял в слепой ревности, грозился уйти жить в гостиницу. Их любовь, как капли воды, неумолимо уносил поток времени. Второй раз в эту же речку Ефросинье входить не хотелось. Встречая мужа с работы, уже не летала перед ним ласточкой, не звенела серебряным колокольчиком, как бывало раньше. Не унижалась. Училась не

втягиваться в ссоры. Ранимая и впечатлительная, старалась реже бывать с ним на людях. Смирилась, не ревновала, не ревела белугой, не мочила подушки по ночам, совсем остыла к мужу душой. Первую и долгожданную, непонятую и неиспитую любовь она замкнула в потаенных темницах на прочный замок.

Не приобрел в Слепцове долгожданного хозяина и красинский дом. Потому не принимал и не понимал чужака. То ли от занятости, то ли от нежелания, он не прикладывал к нему рук: не обновлял, не чинил, не прихорашивал. Не приумножал удобств его, а только бездумно ломал, ниспровергал вековые постройки. Дом ветшал.

После рождения дочери, Ефросинья с головой окунулась в бездонные материнские чувства, пестовала свою кроху-свет ее жизни, единственную отраду.

В три годика Настенька простудилась. Позвонили из садика: у дочки высокая температура, пневмония с осложнениями. Слепцов в этот день уехал в город. Ефросинью с больным ребенком увезли в районную больницу, а через день — в краевую клинику. Отец так ни разу и не появился: «Разъезжать работа не позволяет».

Девочка ослабла, ничего не ела и быстро угасала. Егоза, непоседа, щебетунья Настенька на десятый день болезни перестала вставать с постели, разговаривать. Врачи засомневались, что она будет жить, и лечащий врач откровенно сказал об этом матери. Ефросинья увезла дочку домой. С фельдшером из местного медпункта Валентиной Николаевной, лекарем от Бога, опытной, ласковой, они поочередно дежури-

ли у кровати. Уколы, обтирание настоями таежных травок, сон под кедром свершили чудо. Кризис миновал. Оставалось выходить, вернуть Настеньку к радостям детства. Пришлось уйти с работы. На полное выздоровление дочки ушло больше года.

К этому времени слег Михаил Иванович. Все годы совместной жизни румянец на щеках мужа воспринимался Фросей как избыток его здоровья. Но, оказалось, фронтовые окопы, ранение в правое легкое давно уже дали о себе знать. И первый же рентгеновский снимок показал запущенный туберкулез. Лечь в стационар муж наотрез отказался. Не мог — или не хотел? — лечь в больницу.

Как и в случае с Настенькой, на выручку семье пришла Валентина Николаевна. После работы ночевала в красинском доме и ночью лечила Слепцова. Но ее бдения запоздали. Запущенная болезнь не отступала. Михаила Ивановича с высокой температурой почти насильно увезли из кабинета в туберкулезный диспансер, где он пролежал более трех месяцев. А весной открылось легочное кровотечение.

Оставшись вдовой, Ефросинья вновь приняла свое лесничество. Настю отдала в детсад. Готова была работать сутками, лишь бы малышка ни в чем не нуждалась.

Растить дочку помогали старики Рыжиковы. Частенько Настенька из садика сама прибегала к ним, благо, жили рядом.

Вечером мать забирала дочку, но, если оставалась на вторую смену, то девчушка охотно ночевала у деда с бабой. Старики обожали ее, считали родной внуч-

кой и даже отписали Настеньке в завещании все, что имели.



Дочь быстро подрастала. Лицом и характером походила на отца. Была озорной, общительной. У нее было много подружек, но деда с бабулей любила больше всех.

Настя готовилась к выпускным экзаменам в школе, когда Степана Матвеевича и Галины Семеновны не стало.

6.

После института Анастасия вернулась в родной леспромхоз на должность экономиста. Теперь она с матерью виделась чаще, чем в пору детства и юности. Ни с кем из сельских парней не дружила, не торопилась с замужеством, хотя спасские сверстники поглядывали на нее с интересом.

Ефросинья подталкивала свою недотрогу к общению с ними, но дочка противилась, даже обижалась. Зато в конторе стали поговаривать, и это дошло до

матери, что Настю не раз видели с бригадиром залетной строительной бригады Богданом Бесовым, «писанным красавцем». Видно, кто-то из его предков был цыганом: темперамент, смоляная чернота волос, смуглая кожа. Богдан пел, плясал, играл на баяне, чем привораживал к себе женщин.

Как-то в конце весны дочь не пришла домой ночевать. Иногда Настя после танцев с подружками оставалась в рыжиковском доме, поэтому Ефросинья не придала этому значения.

Утром на работе та лукаво отшутилась.

«Дай-то Бог! Может, задружила с кем? — подумала Ефросинья. — Не маленькая, допросы ей учинять. Сама себе хозяйка».

А дочка бывала дома реже, реже. И так прошло лето.

Спросила как-то:

— Может, расскажешь, дочка, где и с кем ноченьки проводишь?

Настя залилась румянцем и, как в детстве, опустила глаза, склонив набок голову:

— Мамуля, я встречаюсь с Богданом Бесовым. У нас будет ребенок.

Ничего худшего Ефросинья не ожидала от нее услышать.

— Совсем обезумела! — запричитала, оторопев. — Разве не видишь, что он собой представляет? Или ослепла от счастья?

Настя, плача, выскочила из дома и не появлялась, пока «калымщики» не поехали на другой объект края.

Автобус уже трогался с места, когда Богдан признался:

— Давно хотел сказать...

— Что? — окаменела Настя.

— Что-что? В городе у меня жена... И дети...

Не произнеся в ответ ни слова, не чувствуя себя и своих ног, Настя едва дошла до рыжиковского дома, где дала волю слезам.

Когда Настя вернулась, ее нельзя было узнать, словно прошла все круги ада.

— Доченька, прости меня, окаянную. Прости обезумевшую! До какой дурноты я дошла!

— Не надо, мама, из-за меня, глупой, убиваться. Богдан бессовестно обманывал, а я верила. Только перед отъездом решил сказать правду. Дети у него в городе. Что мне делать?!— и упала на кровать, беспомощная, убитая предательством любимого человека.

...Ефросинье почему-то вспомнилось, как однажды, возвращаясь из лесничества домой не дорогой, а лесом, попутно собирала грибы. Прямо из под ног выпорхнула крупная копалуха, самка мошника, и полетела к осиновому околку. Непроизвольно следя за ее бреющим полетом, заметила в метрах ста от себя гуляющую парочку.

Замедлив шаг, стала с любопытством наблюдать за ними. Они тоже шли в сторону села, громко смеялись и целовались. «Какое счастье, так вот любить и радоваться друг другу». Позавидовала им. Подошла ближе. И... узнала в мужчине мужа, а рядом — молоденькая библиотечкаряш Нюра, недавно приехавшая из города.

Она тогда в неистовстве разбросала по кустам собранные ею грибы, металась между деревьев кругами, рыдала и проклинала паскудника. Потом бросилась бежать в обратную сторону. На миг оглянувшись, не обнаружила ли себя, увидела, как любовники торопливо скрылись за старой развесистой черемухой.

«Нет, этого дочке не стоит рассказывать. Пусть память об отце будет у нее чистой и светлой».

Подойдя к Насте, подняла ее с кровати и крепко прижала к себе.

— Спрашиваешь, что делать? Рожать мне внука, вот, что делать! Успокойся, вытри слезы. Тебе теперь вредно расстраиваться, внука моего тревожить, поняла? Любовь залетная, как пришла, так и уйдет. А селяне посудачат и успокоятся: никому из них горя не принесла, ни у кого счастья не украла!

7.

Пришло время, и Ефросинья увезла Настю в районный роддом, хотя та собиралась рожать в Спасском. Мать убедил: первые роды — дело не шутейное. И правильно сделала. Роды едва не закончились трагически. Сынуля родился крепышом: рост — пятьдесят три сантиметра, вес — около пяти килограммов. Таким богатырем и селян удивишь. Но после его появления на свет, у Насти открылось сильное кровотечение. Спасибо врачам и донорам, иначе и подумать страшно, что могло случиться.

Бабуля летала на крыльях, забирая домой дочь с внуком. Да как ей не летать! Появился Павел Красин! Продолжатель рода, надежда, ее солнышко.

«В нашем скорбном доме теперь навсегда поселятся радость и покой. Стены пропитаются детскими ароматами, запахами, наполнятся звонким ребячьим смехом. По старым приметам, от одного духа описанных пеленок нечисть из углов вмиг исчезает».

Внука назвали в честь погибшего под Москвой деда Павла, любимого брата маленькой Фроси. Смоляные завитушки на головке и глазки — два озорных уголька, — это мальчонка унаследовал от отца, Богдана Бесова, но кожей вышел в бабулю — белену. И норовом удался в красинскую породу.

Рос Павлушка в бесконечной любви и неустанных заботах о нем двух женщин. Был шустрым, здоровеньким. Сосал материнскую грудь без устали, ненасытно. И, если Настя пыталась насильно отнять у него кормилицу, он прикусывал сосок, да так больно, что мать вскрикивала.

— Ишь, ты, бесенок, какой настырный! Чего над матерью изгаляешься! — Ефросинья брала на руки пухленького, раскрасневшегося от сытости внучонка. Носила его по дому «столбиком», чтобы мамкино молоко не срыгнулось.

В семь месяцев Павлушка ползал, в девять — зубов имел, казалось, полный рот. Но они лезли и лезли. Видимо, донимали малыша зудом: тащил в рот, что попадалось в быстрые ручонки, и все это нещадно грыз. Попробовал на зуб ножки табуреток и стола.

Когда не удавалось вцепиться в очередную «жертву», недовольно, по-кошачьи, морщил ёжиком носик, подползал к бабуле и пытался укусить ее за ногу.

— Сейчас получишь! По заднице тебя, по заднице! Будешь еще об меня зубы точить, — игриво воспитывала она любимца.

В школе Павлушка был крупнее одноклассников. Неплохо учился. Замечания от учителей касались только поведения: непоседа, озорник, заводила. И дома выдавал день ото дня что-нибудь новенькое.

Ефросинья улыбнулась, вспомнив, как однажды он ел пельмени.

Тогда, встретив внука у ворот, она любовно потрепала его быстро отрастающий чуб, и они, обнявшись, вместе вошли в дом.

— Поди, опять накидался гантелей, совсем исхудал. Садись, ешь пельмешки, бесенок мой.

— Во, ба, это блюдо я люблю!

Ефросинья достала из погреба кринку отстоявшегося молока, сняла в тарелку вершок, наполнила ее до краев горячими пельменями. Через минуту Павлушка уже прилетел к ней на кухню.

— Ты чего не ешь-то? — удивилась она.

— Так я все съел.

Ефросинья подошла к столу.

— А это что? — и показывала внуку выпотрошенные сочни.

— Не, ба, я кожурки не ем.

— А раньше ел.

— Глупый был.

Наголодавшись в военное время, Ефросинья сытый желудок считала божьим даром и старалась кормить семью досыта. Павлушка в десятом классе вымахал повыше красинских предков. Занимался в спортивных секциях. По боксу имел первый юношеский разряд. Любил поесть, особенно бабулины блины. Она пекла их одновременно на трёх сковородках и едва поспевала за ненасытным проглотом.

Как-то перед концом блинной трапезы, он громко взмолился:

— Все, ба, сейчас объемя, — потом тихим голосом добавил, — и помру молодой.

Из-за суеты со сковородками, Ефросинья этих слов не расслышала, ответила внуку лишь на громко сказанное им:

— Ну, и слава Богу, зато насытился!

Долго помнили эту нескладушку и смеялись.

Школу внук окончил без троек. После выпускного вечера бурно обсуждали, куда ему поступать. Бабуля категорически настаивала на медицинском. Мать молчала. Но Павлушка твердо заявил:

— Хочу быть настоящим спортсменом — боксером, выступать за сборную страны.

— И не стыдно тебе, такому бугаю, без профессии по жизни мыкаться? Что за дело такое, спорт твой? Им от безделья маются. Ты же учился и боксом своим натешиться успевал. На тебе в самую пору новину пахать да из лесу вековые деревья таскать, а ты будешь по-бабуи ручками туды-сюды физкультурить. Не одобряю это баловство.

— Ба, ты не права. Спорт требует глубоких, точных знаний многих наук, в том числе и медицинских, — пытался настаивать на своем Павел.

В разговор вступила Настя:

— Мама, а может, он прав?

— Не смей потакать ему! Не хочет быть врачом, мог бы на лесничего пойти. В людском уважении прожили красинские мужики, имея одну родовую профессию. Ни копейки от пенсии не дам на пустяшную учебу.

Ефросинья давно не была так расстроена. Вышла на подворье, прислонилась к кедру и расплакалась. Всю ночь проворочалась в постели, не заснув. Измученная бессонницей, добралась и до своей персоны. Это было отличительное качество ее характера: уметь посмотреть на себя со стороны: «Что я, макитра дырявая, разошлась, расшумелась? Встаю поперёк пути внуку, как гнилая коряга на тропе! Парень с малолетства этим спортом живет, надрывается. Значки, грамоты имеет, а я тут раскудахталась», — и к утру смирилась с решением внука.

Встав до зари, наготовила еды полный стол. Настя поела и ушла на работу, не вспоминая вчерашнего материного гнева. Вскоре поднялся Павлушка. Он никогда в постели не залеживался. Находились срочные дела по дому и в школе. Чмокнув бабулю в щечку, стрелой полетел к колодцу, где второй год подряд после сна обливался ледяной водой, не пропуская и студеную зимушку.

Босой, раздетый до трусов, после процедуры вбегал домой, как ошалелый. Быстро обтирался поло-

тенцем, одевался, обувался в валенки и пил горячее молоко. Ефросинья любовалась его молодым телом, гордилась: красинский характер.

— Садись за стол, бес мой ненаглядный. Поешь оладышек, запеканок.

Павлуша с опаской посмотрел на нее.

— Не бойсь, ругаться с тобой боле не буду. Как надумал, так и действуй. Вечером с матерью снарядим твой отъезд в город. Сдай документы, поинтересуйся, порасспрашивай знающих людей. И вот еще что. Пожлянись мне, внучек, что не будешь никогда по жизни валять дурака, не запятнаешь наше фамильное имя. Твои прапрадеды и деды за нас жизни отдали, земля им пухом. Помни это! И ещё, не при матери будет сказано, не ищи отца своего. Он предал и тебя, и твою мать. Мне будет больно, если унизишься перед ним.

В институт Павлушка поступил легко, успешно сдал экзамены. Ему дали повышенную стипендию: на неделю-другую кое-как прокормиться хватало. Домой приезжал два-три раза в месяц, всегда с друзьями. Ребята не пьющие, услужливые, добрые. Ефросинья с Настей кормили их досыта, парили в бане, набивали в дорогу сумки деревенской вкуснятиной.

На втором курсе Павел выполнил норматив мастера спорта по боксу, стал чемпионом области.

В школьном музее появилась его фотография и несколько газетных вырезок о нём. Настя, по просьбе директора, отдала и его школьные фотографии. Сыну это не понравилось.

— Мама, ничего заслуживающего внимания к моей персоне, я еще не достиг. Попаду в сборную, завоеую золото на Олимпийских играх, тогда будет, что сказать, а сегодня уберите меня с пьедестала. Честное слово, неловко перед учителями и ребятами.

Но для родного Спасского он был уже кумиром.

8.

Всю неделю Павел пропадал в тайге, наслаждаясь дарами «собственных» лесных «огородов», которые давно заприметил. Теплые августовские дожди до срока выгнали из грибниц его любимые рыжики и лисички. Он один пользовался ими. Никто из селян сюда не добирался. Далековато. За тремя распадками.

Рыжики росли в сыром месте у давно нарезанных лесничими и когда-то глубоких борозд— хранительниц от пожара. За многолетье борозды осыпались, поросли лесной травой. В их многочисленных канавках и желобках надолго задерживалась талая и дождевая вода, беспрепятственно и щедро светило солнышко, что и было нужно для размножения и процветания огромных колоний оранжевого чуда.

Лобастики, так их называл Павел, гнездились разновозрастными семьями: от чуть приподнявшихся над росистой травой до великанов, с мужскую ладонь, уже покрывшихся зеленоватым налетом.

Этим Павел особенно радовался. Ел сырыми, домой носил трехведерными коробами, а Ефросинья солила их в травяных отварах из черемуховых да ка-

линовых листьев. «Одним духом сыт будешь, хоть на хлеб его мажь!» Восторженно нахваливало бабулино мастерство голодное общежитское студенчество, открывая к картошечке в мундирах очередную банку с солнечными грибами.

...Близился полдень. Засосало под ложечкой. Пора обедать. Павел расположился на мшистом взгорке у заневестившихся сосенок, на гибких ветвях которых празднично красовались маленькие зеленые шишечки. Приступил к трапезе. Отобрал понравившиеся ему «лобастики», очистил, разрезал на дольки, посыпал солью. И долго ел их с таким аппетитом и наслаждением, будто впервые отведал с царского стола заморское яство. Вкус и аромат свежих рыжиков с бабулиным подовым хлебом были ни с чем не сравнимы.

Насытившись, вышел из соснячка и направился поближе к опушке собирать лисички. Они оранжево красовались перед ним на высоких, толстых ножках. Павел с детства почему-то назвал их «зайчатками». Может, в садике, а, может, еще где-то увидел оранжевого игрушечного зайчика, понравившегося ему и позже нашедшего сходство с оранжевыми грибами, прыгающими по высокому папоротниковому травостю.

Лисичья грибница петляла, извивалась нескончаемой змейкой то по редколесью, а то упиралась опять в густой хвойник. Причудливость «зайчаток» напоминала выдутые из огненного стекла сказочные цветки. Даже мало обученный эстетике грибной червяк не осмеливался нарушить их красоту и изящество.

Бабуля тоже ценила Пашиных «зайчаток» и пользовалась как праздничный десерт и проверенное лекарство.

На сумеречном небе высветились первые звезды, и Павел с полным коробом грибов и охапкой пихтовых веников за плечами направился домой. Придя из леса, заспешил в баню. Ефросинья, провожая его крестным знамением, наказала:

— В бане-то не заночуй! Скоро ужин поспеет. — Она высыпала на чугунную сковородку со скворчающим топленным маслом миску свежих оранжевых кубиков.

— Ба, да сыт я! Хворосту твоего успел налопаться.

— Хоть лупень-залупень его! Ково там есть-то? Много кусашь, да мало глотаешь. Разве это еда? И в лес идешь, с собой, окромя хлеба, ничего не берешь. Чем жив только, не знаю...

— В тайге— кормилице сейчас еды — не переест! Всякой ягоды и кореньев вдоволь. Сама ведь с детства приучила.

Павел заметил, как Ефросинья смахивала с лица слезу за слезой.

— Ба, ну, что опять! Гляди, какой я здоровенный! Мужик под два метра, а ты расстраиваешься.

— При матери всегда боле месяца на каникулах был, а уж второй год неделкой балуешь. И ту, считай, в тайге провел. Не успеваю насмотреться на тебя, как уж в город собирать. Так совсем от дома отвыкнешь, — Ефросинья разрыдалась.

— Бабуля! По два-три раза в месяц приезжаю. И тебе ли не знать, как привязан к дому? С пеленок, помню, больше к тебе тянулся, чем к матери.

— Нехорошо говоришь, Паша, нехорошо. Мать, — всегда мать. Превыше всех. Она Богом дается! А ты вот и письмо ей не поторопился написать. А что уехала — и тут ты не судья ей. Все под Богом ходим.

Павел впервые за последние годы крепко прижался к бабулиной груди. И так в полном понимании затянувшегося горького молчания, изливали они друг другу самое сокровенное, годами глубоко затаенное. Каждый — свое. Уже пережитое и еще переживаемое. Вслух ни перед кем не произносимое и никому не доверенное.

Очнувшись от долгого душевного оцепенения, повеселели.

— Прорвемся, ба! Прорвемся...

Павел привычно чмокнул Ефросинью в мокрую щеку и заспешил на подворье. Наломал у забора крапивы, связал ее тряпицей в тугий веник и нырнул в баню. Напарившись до усталости пихтовым веничком, в предбаннике нещадно хлестал себя обжигающими, ветвистыми, злющими крапивными стеблями, оставив от них одни зеленые лохмотья. И снова улегся на полке, изворачивался, пыхтел под смолянистым веничком, ухая и счастливо взывая. Он бы еще десяток раз поддал парку, но, помня бабулин наказ, прервал излюбленное банное таинство.

Отужинали грибной жарехой на сметане.

— Ба, пойду-ка я в село. С одноклассниками по-видаюсь.

— Коль надумал, сходи. Может, голубу каку себе присмотришь. Пора уж, однако.

Вечер утопал в зыбком мареве тайги и в сохранившем дневную душистость травостое.

Щедро светила луна, и было слышно, как переговаривались между собой запоздавшие ко сну птицы.

Павел, сам того не замечая, оказался у сельского клуба. Из открытых окон в тишину ночи неслась хитовая музыка. Танцы были в самом разгаре. Он вошел в зал. И сразу к нему навстречу хлынула толпа не танцующих, стоявших у дальней стены парней.

— Вот здорово, что ты пришел, Павел! Часто читаем о тебе в газетах, а ты все не приезжаешь. Расскажи о себе.

Их лица светились неподдельной радостью встречи.

— Вот уж неделю у бабули, как сыр в масле, катаюсь. По тайге гуляю. Завтра опять в город уезжать. Если честно, надоел он мне...

— Неужели взаправду сюда, в медвежий угол, тянет? — не унимался Ваня Семкин.

— Вот окончишь школу, уйдешь в армию или в вуз поступишь, наживешься, намыкаешься среди чужих, тогда поймешь, что такое село наше... Ладно, не будем о грустном. А вы как тут поживаете?

— Да мы что! Сенокосим, поленицы до небес выкладываем, с девчонками шашни водим.

Ваня лукаво глянул в сторону девчат, которые в простеньких ситцевых платицах гомонили у раскрытого настежь окна. Павел тоже поглядел на них. И вдруг взгляд его на мгновение зацепился, задержался и замер на высокой, темноглазой девушке с

рыжими, свисающими ниже пояса косами. Красивую головку ее золотистым ореолом обрамляли мелкие в колечко завитушки. Его словно стрела пронзила! Точеная девичья фигура притягивала внимание и других парней. Это Павел сердцем почувствовал.

Продолжая разговаривать с ребятами, стал пристально вглядываться в рутящееся в вальсе оранжевое солнышко: «Ну, точно зайчатка!».

Сметливый Ваня уже перехватил его зависший взгляд на одном, не виданном ранее «объекте», и добродушно посоветовал:

— Не теряй понапрасну время, а то поздно будет. Хороша! За ней многие ухлестывают, да только не мило мы ей.

Не назвав ее имени, заметно погрузтел, опустил глаза и отошел.

— Это Катя Земцова, — негромко, только для Павла, произнес Ванин друг Андрей Смирнов. — Ее семья из райцентра переехала. Мы с Катей — одноклассники. Ее родители в леспромхозе устроились, а живут они в заброшенном доме бабки Крокодилихи. Помнишь, наверное? У нее был сын Петр. В Афгане погиб. Вскоре и бабуську похоронили...

Павел впервые почувствовал себя беспомощным и уязвимым. Ему захотелось немедленно покинуть мужскую компанию и ринуться к Кате — лесной колдунье, мгновенно опалившей его разум и волю. Но он словно окаменел, пристыл к полу и продолжал отвечать на вопросы о краевом чемпионате, где он в очередной раз стал чемпионом, о городской жизни, конкурсах в вузы.

А сам, поглядывая на щебечущую стайку симпатичных селянок, отыскивал взглядом постоянно куда-то исчезающий золотистый магнитик. Но подойти к заинтересовавшей его девушке и пригласить на танец не решался. Успел, однако, заметить, что она прекратила разговоры с подружками и, в очередной раз стрельнула в его сторону задиристым взглядом, вышла на улицу.

И тут же был потерян его интерес к плотно смыкающемуся вокруг ребячьему кольцу. Переждав еще несколько томительных минут, Павел солидно пожал всем руки и, не торопясь, покинул клуб.

Вязкая прохлада осенней ночи взбудрила его. Привыкнув к обволакивающей, непроглядной тьме, оглядевшись по сторонам и не обнаружив Катю, он направился к пристани, где обычно после танцев собиралась неугомонная, жаждущая продолжения веселий и общений молодежь.

Вскоре оттуда донеслись приглушенные всхлипы баяна и распевно стонущий шелест волн, тихо бьющихся о прибрежный песок и гальку.

У Павла екнуло сердце: «Может, она где-то здесь?». И ругнул себя, что оставил девушку наедине с ночью. Хотя знал, что в Спасском это не опасно. Но все же мог бы набраться смелости и подойти к Кате, познакомиться, домой проводить.

Огромное желание быть с ней рядом заставило его обойти всю территорию пристани. Мимоходом перемолвился с двумя одноклассницами, которые, видно, крепко подружились с приезжими из города паромщиками. Постоял у парапета, наблюдая за дремлю-

щим и негромко вздыхающим на порогах Енисеем, распластавшимся черным сказочным великаном у подножья спящих Саян.

Кати нигде не было. И сердце Павла наполнилось предчувствием чего-то навсегда упущенного и непоправимого: «Небось, прогуливается с кем-то...».

Он поднялся по крутой лестнице, упирающейся в главную улицу села. Перешел на еловую аллею, недавно посаженную старшеклассниками. Аллея преобразила все в округе. С детства знакомая каждым кустом и забором улица стала неузнаваемой, похожей на городской сквер.

... Откуда-то вынырнула и виновато улыбнулась подгулявшая луна. Ее тихо звенящее серебро, как из большого ковша, лилось под ноги загрустившего Павла, и травянистая дорожка далеко просматривалась. Беседки тоскливо пустовали.

И только мысль о наступающем зоревом часе, и о том, что Катя обошлась без провожатых и давно дома, немного успокоила Павла. Он тоже заспешил домой.

Ефросинья сидела на крыльце, укутавшись в старый, связанный ею еще в девичестве плед.

— Ты чего, бесенок, блудишь? Уж зори блещут. Ишь, как небо над Саянами порозовело! Небось, к деве придружился? Они-то ноне и сами на шею хомутом вешаются.

И ревниво глянула на Павла.

— Да что ты, ба! На пристани с парнями проболтали весь вечер.

Он не умел и не хотел обманывать Ефросинью, но и откровенничать с ней пока было не о чем.

Ранним утром Павел уехал в город.

Едва дождавшись конца недели, вырвался на денек домой. Сойдя с автобуса, сразу направился к дому Василины Крокодилихи. Подойдя к нему ближе, услышал визгливые пьяные крики мужика, потом чьи-то рыдания.

— Ах, ты мокрица болотная! — продолжал надирать голос буйн.— На несчастную чекушку родному отцу денег пожалела. Зачем только породил себе на горе такую змеищу! Подколодную! Жадюгу-у-у! — пискливо взывал он. Потом двери в сени захлопнулись, и за воротами все стихло.

Павел не решился войти в дом в такое неподходящее время и постучал в окно рядом живущего Андрея Смирнова. Тот вышел на улицу в одной майке, стареньких залатанных штанах и босиком. Он мигом уловил, что к чему, и побежал к Земцовым.

Не прошло и пяти минут, как Павел увидел Катю с Андреем. Ожидание показалось ему вечностью. Он почувствовал прохладу бегущих между лопаток ручейков. Руки непослушно дрожали.

Андрей перебросился с Катей несколькими фразами о домашнем задании по алгебре, и поспешно распрощался. На ходу, обернувшись, многозначительно озорно и ободряюще подмигнул кумиру.

А Катя, приветливо поздоровавшись, не поднимала на него заплаканных глаз. На ней был старенький, давно вышедший из моды синий болоньевый плащ. Ее распущенные волосы перекатывались по

нему золотистыми волнами, играющими в закатных лучах солнца всеми цветами радуги.

От домашних неурядиц ли, а, может, от неожиданной встречи на ее загорелых щеках спелым призывным яблочком вспыхнул румянец. Черные глаза блистали зоревыми сполохами.

Она была юной и прекрасной.

Вскоре у обоих было ощущение, что они давно знакомы. Пройдя по аллея, спустились к Енисею, ворчливо отмахивающемуся белоголовыми, пенящимися бурунами от назойливых порывов ветра.

Казалось, и малиновый закат радостно махал им пушистыми макушками раскачивающихся пихтачей.

Так и бродили они вдоль берега до наступления сумерек, наконец-то, нашедшиеся и счастливые, наблюдая за свинцовой проседью тревожной реки и прогулочными катерами. Непринужденно, задорно болтали о своих школьных приключениях, ночевках у искристых таежных костров, ловле на перекатах горных речушек непременно черных и длиннющих хариусов ...

Да мало ли еще о чем могут говорить прожившие врозь шестнадцать зим и весен истосковавшиеся и влюбленные души!

Поздним вечером Павел проводил Катю домой. Договорились о новой встрече. И, хотя о взаимных чувствах не было произнесено ни слова, Павел знал, что эта встреча и есть начало того, главного в его жизни, чего так не доставало ему, и ради чего он будет жить.

Настя познакомилась с Антоном Миллером, приехавшим из Германии на установку импортного оборудования в леспромхозе. Стали встречаться. Как-то, уходя на работу, попросила мать приготовить к ужину чего-нибудь вкусенького.

— Никак своего иностранца в дом пригласишь? — наигранно безразлично спросила мать.

— А ты откуда о нем знаешь? — без обиды, удивленно и озорно ответила на вопрос вопросом Настя.

— В нашем селе можно от кого-то чего-то скрыть? Ладно, приводи. Ни разу в жизни не видела иностранцев, — иронично и весело смотрела на дочь Ефросинья. Но руки выдавали её волнение, когда поправляла дочери прическу.

После ухода Насти весь дом был перевернут, перемыт. Диван и кресла в горнице накрыты невесть откуда взявшимися новыми бархатными накидками. Дошатая дорожка от крыльца до парадных ворот выскоблена. Откуда только сил набралась и прыти? «Чем его, нерусского, кормить-то? Дал же Бог, немца! А стоит ли голову ломать? Пусть уважает нашу пищу», — и налепила пельменей.

К приходу гостя на столе яблоку негде было упасть. Сама выглядела помолодевшей, нарядной.

Антон сразу понравился ей: крупный, темноволосый, а главное — простой и приветливый. Неплохо говорит по-русски, только с акцентом и слова тянет.

Рассказал о себе, родителях, старших братьях. Они давно женаты, живут в других городах. Долго учился, помогал братьям строиться. Живет с родителями в их доме. Работают с отцом на заводе в пригороде. Холостой.

— Наши русские мужики тоже — в командировках все холостые, — улыбнулась Ефросинья.

— Нет, я не обманываю. Пришел к вам, Ефросинья Ивановна, по важному событию в моей жизни. Прошу — как по-вашему сказать? — Настинной руки.

В горнице стал слышен звон капли подтекающего кухонного крана.

— Я полюбил ее. Мы будем жениться, правда, Настя?

Он замолчал, подошел к Ефросинье, поцеловал ее натруженную, шершавую руку. Обнялись, почему-то оба расплакались. Настя крепко прижалась к ним.

— Ефросинья Ивановна, можно мне вас называть мамой?

— Буду рада, если просьба от чистого сердца. Этим, Антон, грех лукавить.

Он снова поцеловал ей руку. Настя тоже встала перед матерью и, словно семнадцатилетняя девчонка, смущенно, стыдливо обратилась к ней:

— Мама, я решила на замужество. Благослови нас с Антоном.

— Как-то быстро у вас все сложилось. Не торопитесь? — всхлипывала взволнованная неожиданным сватовством Ефросинья.

— Я скоро уеду, работа заканчивается. Будем с Настей делать много документов, потом приеду за ней, — пытался объяснить ей Антон.

— Вот, тогда и благословлю, — сказала она строго.

Через три месяца Антон вернулся за Настей. Ефросинья приготовила дочке приданое, пригласила полный дом гостей. Работники леспромхоза, Настины подруги три ноябрьских праздничных дня весело отплясывали на свадьбе. Спустя два дня зять увозил избранницу на далекую родину.

— Антон, почему не упаковываете приданое? Или не понравилось?

— Понравилось очень, мама, спасибо. Но для него и самолета не хватит. У нас тоже есть. Моя мама купила нам с Настей. Я хорошо зарабатываю. Мы и еще купим. Приданое пригодится Павлу. Он уже большой жених.

Прошло около двух лет, но в гостях Миллеры пока не побывали. Собираются приехать к Новому году. Настя пишет, что не работает, языка не знает. А родня Антона относится к ней хорошо, называют русской красавицей.

Родился сын, Робертом назвали. Отец и братья Антона помогают им строить большую виллу. «Тебе, мама, и Павлуше места тоже хватит».

Приглашают сына и Ефросинью переехать к ним на постоянное жительство. Но внук и слушать не хочет: «Я сибиряк и в Сибири сгожусь».

Замужество, особенно выезд матери за рубеж, не одобрил. Ефросинья старалась сблизить его с новой Настиной семьей, но Павел только хмурится, отмал-

чивается. «Зимой свидятся, поговорят. Даст-то Бог, добром обойдется, — вздыхая, думала она. — Заставлю матери письмо написать. Совсем от нее отвыкнет. А каково ей там, на чужбине?».

10.

У Енисея во всякую погоду ветрено: необъятным чревом, несметной силой катит он гигантские волны к старшему брату Океану, подхватывая и подчиняя себе огромные воздушные потоки. Оттого-то и всякого ветерка вблизи его нахлебаешься: и вкрадчиво ласкового, и буйно штормового. Могуч Енисеюшка водами своими. И нет равного ему по силе на всей земле российской.

Недобрые людские умы и руки однажды обручами сковали его, навсегда разлучили с прежними просторами, волей-вольною. Да так и не стреножили царь — батюшку, непобедимого и непокорного.

Отдал он людям только ими требуемое: светит и греет денно и ночью. А сам, вырвавшись из тугих пелен, расправив богатырские плечи, катит волны ближе и ближе к северу, где вдоволь опять разгуляется да напьется досыта чистой студеной водицы сибирских сестриц — красавиц Ангары и Подкаменной Тунгуски.

Ими и будет вечно жив.

Еще мальчишкой любил Павел понаблюдать, как река с солнышком общаются. И заметил, что вытягивается она перед ним синей лентой, и рвется ввысь всем нутром своим. Будто, ей русла мало. Радостно

искрится в ласковых игривых лучах его алмазной россыпью мелких капель да воздушных пузырьков. Шлет ему на протянутых в небеса могучих руках в подарок звенящие да переливающиеся самоцветами волны.

Павел не раз ощущал их вкус и влагу на губах. Помнился ему с детства пряный рыбный запах реки, когда, изодравшись до крови по тальникам и колючим кустам, добирался до сыпучего края скалистых, круто обрывающихся и густо поросших хвойниками берегов. Крепко ухватившись одной рукой за гибкий ствол молодой ели, зависал над ревущей, грохочущей, свинцово-изумрудной водой, чтобы посмотреть на нее с мало кому доступной крутизны.

Енисей будил его фантазии. Явственно виделись запряженные им в одну упряжку несчетные табуны белогривых лошадей. В безумстве ярости они оголтело неслись и со всего маху ударялись о светлые своды горизонта...

Порой казалось, что река течет одновременно во всех видимых направлениях, повинуюсь только повелениям его мальчишеского воображения. И даже причудливые, ужасающие очертания бурунов он восторженно принимал за белоголовых всадников, восседающих и колышущихся в такт лошадиного аллюра.

Напротив дома Красиных, у Марьиной косы, подводные пороги и гремящие, клокочущие ключи сильно меняли течение реки. Словно заглатывали его, прокручивали на скоростных подводных каруселях, разгоняли до бешеной скорости и с неистовством выталкивали, выплевывали на поверхность, ускоряя и

без того стремительный поток. Вода кружила и пенилась, по-звериному грозно и раскатисто рычала.

... Нечастые свидания с Катей запоминались Павлу не датами, а все разгорающейся между ними любовью. Он сохранял в душе все малейшие подробности их встреч: летящие движения ее гибкого тела, трепетных рук, пахнущих утренней свежестью и напоминающих ему полет быстрокрылой птицы.

Днем и ночью он видел перед собой ее глаза, цвета черного топаза, взмахи длинных росистых ресниц. Они смотрели на него то с лукавым сиянием и озорством, то с усмешкой и тихой грустью. Доставали повсюду. Доверчивые, призывные и влюбленные, застилали собой полнеба.

Они навсегда заслоняли от него прежний мир, мир бездумных, необязательных, пошловатых увлечений безотказными девицами. Красоту многих из них тоже можно было бы сравнивать с красотой небожительниц — богинь и жриц! Но только не поведение... «В жены мне ни одна не годится». Так решил он для себя сразу, не доводя знакомства с ними до привязанности, и тем более до влюбленности. Отношения с эскорт-девочками, кроме гадливого опустошения, ничего доброго в его душе не оставили.

После знакомства с Катей, Павел серьезно задумался о себе: вчерашнем и сегодняшнем. Ужаснулся! Хотя к этому времени в среде сверстников слыл успешным парнем. Благодаря своей настойчивости и целеустремленности, ежедневным тренировкам с полной отдачей сил на ринге, ему действительно удалось чего-то достичь в спортивной карьере. За это и

отличную учебу его уважали и тренеры, и преподаватели.

Друзья ценили за степенный, твердый характер, открытость и преданность в дружбе.

Но только теперь он ясно увидел, как бы со стороны, свою все же безответственную, без всяких тормозов жизнь. Как хаотичные метания неопытного пловца в бешеной стремнине реки или полет птенца в порывах встречного ветра со взлетами и падениями.

Он и не заметил, как в душу проникли и грязно наследили, словно на выбеленном холсте, зловещие пятна его сопричастности с постыдными проказами смутных девяностых годов.

Ему еще предстояло от них отмыться! Но и после своего очищения останется в нем на всю оставшуюся жизнь чувство вины и стыда за них перед Катей и бабулей...

...Находясь в городе, Павел мысленно переносился на тенистую лесную тропинку неподалеку от бабулиного дома, где с Катей собирали старые разбухшие от сырости шишки, которые были полны не потерявших еще сладость и маслянистость орешек.

Здесь они бегали по ласковому, оранжевому морю жарков между звенящих янтарной смолой кедров. Эти сибирские розы кланялись им в ноги, обжигали ладони. Пылающие жаром ниспосланных кострищ, благоухающие таежными ароматами, они надолго приковывали взгляд, притягивая его к себе нежностью и красотой.

Казалось, и жарки переживали ту же пору первой весенней влюбленности, заигрывали, безотчетно

внимая нежным прикосновениям и повелениям шаловливого горного ветерка.

Тогда уже Павел понял, что кем-то свыше награжден — или наказан? — великим испытанием души — любовью. И с той поры находился в особом, незнакомом и неведомом ему ранее состоянии сладостного мучения. Мысли о новой встрече с любимой светло опаляли душу, томили и терзали.

... Он опять едва вырвался домой на выходные. Был субботний день. Проснулся раньше обычного, с петухами. Помог бабуле по хозяйству, весело пообщался с ней и ушел лесом в сторону Енисея.

Легкий туман плотно висел над согревающейся землей и молочным облаком медленно сползал по косогору в распадок, растворяясь и исчезая в его вековых завалах, освобождая пространство над поющей многоголосой тайгой звонкому розовощекому утру.

Павел знал, что Катя еще несколько часов проведет в школе, в стенах своего 10 «Б», и неторопливо брел к месту свидания.

Облитый с ног до головы солнцем, он долго продирался через бурелом к вековым пихтам на скалистом выступе, нависающим полумесяцем над шумной, торопливой рекой.

Разгоряченный ходьбой, примостился на столешницу плоского кремневого валуна, замороженно и неотрывно смотря на бездонное синее небо и близко подступающие к противоположному берегу седовласые, задумчивые и остроконечные, как заточенные карандаши, Саяны. Эту дивную, первозданную кра-

соту можно только созерцать! И никогда невозможно описать ее самыми емкими, образными, радужными словами, как невозможно достоверно отобразить и на холсте самой талантливой, говорящей кистью художника.

Так всегда думал и сожалел Павел, когда приходил сюда. Он понимал, что оценить дорогой его сердцу уголок, можно только непосредственно общаясь с ним. Созерцая! И то скорее душой, чем глазами.

Сверкающие сапфирами снежные шапки горных вершин уже тронулись в свой последний бреющий полет с неприступных утесов в гулкие, черные, как дыры, ущелья. Но чуть выше, почти у неба, заледеневший в майских лучах многослойный, как торт, наст еще прочно нависал причудливыми сосульчатыми козырьками над безднами темнеющих расщелин.

... Катя застала Павла в момент сладостных раздумий, на сокровенных мыслях, унесших его во времени и пространстве далеко вперед от тех отношений, которые были у них с Катей до сего дня. Увидев ее, он легко оторвал от камня натренированное пружинистое тело.

— Ну, здравствуй, красавица! Что долго не приходила? Думал, не дождусь! Брошусь с горя в реку!

— Глупости-то говорить не надо! «Брошусь!». Да я тебя со дна любого океана живым достану. И ни одной акуле — ни городской, ни деревенской — тебя, Паша, не отдам. Пусть и не надеются.

— Так вот ты какая собственница-ревнивица! Хотя...нет.

Он взял ее за руки и начал быстро кружить вокруг себя. Две длинных огненно— рыжих косы метнулись ему на плечи, защекотали шею.

— Какая ты хорошенькая, пышненькая! И не вздумай худеть! Городские девицы всякую гадость глотают ради худобы. А я вот худых не люблю, слышишь, Катюша?

— Мне что голодать-то! Да и неволю! Я ведь во какая здоровая!

Довольный Павел расплылся в улыбке:

— Молодчина! Это, Катюша, по-нашенски! У Красиных жены были одна другой краше да румяней. А теперь, скажи-ка честно, где задержалась на целых....

Он, гримасничая и прищуривая глаза, посмотрел на часы.

— Прости, Пашенька. Я ведь эту неделю буду дежурной в классе. Сам знаешь, и полы надо помыть, и проветрить.

— Печальные новости! За какие такие грехи я должен мучиться, ожидая тебя! — игриво канючил он, осторожно теребя ее роскошные косы.

— Сегодня без тебя успел прожить половину нашей совместной жизни.

— Это ты о чем? — удивленно спросила Катя, стрельнув бровями. Павел в ответ крепко прижал ее к себе и задохнулся затяжным поцелуем.

— Катя ...

Она резко отстранилась от него и по-детски обиженно погрозила пальцем.

— А про женитьбу ты мне ничего не говорил!

Павел, как нашкодивший и кающийся пацан, залился румянцем.

— Прости, пожалуйста. Я всегда тороплюсь жить.

Наступила неловкая пауза. Ее вовремя прервал Катюшин артистичный выход на «подиум» — валун.

— Паша, погляди, какое мне мамуля платье сшила. Правда, красивое?

— Правда-правда.

— А что тебе в нем нравится?

Катя, чтобы сконцентрировать внимание Павла, подняла ладонями к затылку вязаный «паутинкой» белоснежный накрахмаленный воротничок:

— Сама вязала. Узор взяла из старого журнала «Работница».

— За рукоделие, хотя я мало, что в нем смыслю, тебе пятерка с двумя восклицательными знаками. Молодчинка!

— Для тебя старалась...

— Кать! А хочешь, скажу откровенно?

— ??!

— Мне больше понравилось платье в тех местах, где ему тесно...

Павел подхватил ее, как пушинку, и поднял над собой, кружась у самого обрыва.

— Паша! Что ты делаешь?! Мы же свалимся в реку! Платье жалко! — взмолилась она, не на шутку испугавшись.

Павел осторожно опустил ее на валун и прижался к упругому, душистому телу. И ... задохнулся неудержимой страстью.

— Паша! Ну, что ты!!! Я не готова к таким отношениям! Давай лучше спустимся к Енисею. Охладишься хоть, а то горишь весь...

Он, спохватившись, с трудом взял себя в руки. И, залившись румянцем, поспешно отстранился от Кати. Она легко выпорхнула из его дрожащих рук.

Наперегонки, азартно и весело они стали спускаться к каменистой косе, оставляя за собой едва заметный сизо-розовый шлейф прибрежной пыли.

Чуткое эхо несло по горам и тайге их спотыкающиеся уханья и аханья да гулкой перезвон падающих вслед мелких камушков. Взявшись за руки, они шли по берегу, а позади все еще качалось в дуновениях легкого, свежего речного ветерка шумное эхо.

— Всегда был слабоват в ботанике. Стыдно, конечно, но не знаю, какая трава вдоль растет у вод Енисея.

— А я знаю! Мне мама рассказывала. Вот послушай. Поодаль от нас — синенькие медуницы, а рядом лиловыми метелками, как факелами, размахивает горец. Смотри, вот у наших ног порезная травка. Видишь, ту, что усыпана мелкими беловатыми цветочками? Порезку гуси очень любят. Рву ее охапками, измельчаю, чтобы языки не порезали. Лупенят — только треск стоит и громко гогочут от удовольствия!

— Постой-ка, Катюша! Иван-чай и сам от всего отличу да еще полынь и желтую пахучую кашку. Научного названия ее не знаю.

— Эх, ты! А еще абориген. В тайге родился, а за нее не зацепился.

— Нетушки! Здесь ты, зайчатка моя, не права. В лесу я, как лесовик — боровик! Про все-то ведаю. Как-нибудь по осени свожу тебя к своим «огородам». Там и поглядим, как отличница Катя Земцова про хвойники, птиц да зверушек лесных сказывать станет.

Они стояли по щиколотку в холодной воде, держа в руках кеды.

— Смотри! Как богатырь наш волнуется! Белыми барашками играет. За ночь полкосы затопил. Вчера мы с тобой сидели на большом, похожем на лежащего быка камне, а сегодня он уж волнами скрыт.

— Наверное, ГЭС опять воду сбрасывает. Смотрел как-то в Дивногорске на это красочное зрелище природы, когда со стометровой высоты да при ярком июльском солнышке падает вода. Покруче Ниагара будет. Любота одна! Не наглядеться! Какой-то бешеный каскад алмазной пыли и брызг. Радужные всполохи отражаются на теле плотины, как наше северное сияние на небе, и исчезают в кипящем водном чудокотле.

— Я не была у ГЭС. И вообще нигде не была...

Катя задумалась, загрустила.

— Сколько помню, отец всегда пил. В райцентре менял место работы по несколько раз в году. Отовсюду увольняли за пьянку. Мама измучилась с ним. Пробовала лечить. Бесполезно. Он себя алкоголиком не считал и не считает, хотя без спиртного и дня не живет. Мы едва сводили концы с концами, чтобы хоть как-то прокормиться. Последние годы и вовсе обнищали. Сюда переехали в надежде, что отец изменится. Да только все напрасно. Он и тут уже отличил-

ся... А братишка Федька у нас молодец. Умница. Хоть мал, а нам с мамой помощник и защитник.

Она замолчала, и слезы теплыми быстрыми каплями застучали прямо на Пашины руки.

— Катя! Прошу тебя, не плачь. Скоро все изменится. Ты у меня никогда плакать не будешь. Я обещаю тебе.

Он высушил ладонями ручейки слез, и Катя повеселела.

— Сейчас я тоже подрабатываю. В прошлом году на летних каникулах с ребятами лесоповалы от сучьев и веток чистили. Мелочь на опушку выносили и в кучи складывали. Новый директор Селин хорошо заплатил нам за эту работу. А зимой я полы в леспромохозе мою, почту селянам разношу. Теперь нам с мамой стало легче. Денег и на еду хватает, и на необходимые покупки. Помнишь, наверное, сколько одному школьнику всего надо. А нас у мамы двое.

— Ты, как пчелка, вся в делах. Почему только тебя раньше не заметил? Когда приезжал домой, всегда заходил в школу. Встречался с одноклассниками. Но клуб обходил. Не люблю танцевать. Да и как следует, не умею. Так, кривляния одни. А ты помнишь ту первую встречу на дискотеке прошлой осенью? Вот уж поистине нас Бог свел в одно место. Никогда здесь не бывал, а тут сами ноги принесли, чтобы с тобой судьбой не разминулся. Но ты тогда, как золушка, к концу танцев исчезла. Повсюду искал тебя, на пристань ходил, но, увы...

— А я должна была прибираться в конторе.

— Вот не знал! Обязательно помог бы.

— Да что ты! Тогда и вовсе бы со стыда сгорела. Мы даже не были знакомы, хотя о тебе уже все знала от девчонок. Любовалась тобой со стороны. Мне казалось, не пара мы. Ты красивый, знаменитый, а я что? Мне еще в институт поступить надо. Школу с медалью постараюсь окончить, а Селин направление обещал дать на заочное отделение. Буду, как твоя мама, экономистом.

— А ты откуда о ней знаешь?

— В Германию только она уехала. Говорят, что была очень красивая.

— Почему была? Она и есть очень красивая... Бабуля говорит, вся в деда Мишу. А я до мозга костей — красинский. На них ничем не похож.

Они помолчали. Павел ласково поцеловал ее.

— Катя! Окончишь школу, сразу поженимся. Согласна?! Я не могу жить без тебя, мое солнышко оранжевое, моя зайчатка!

— Эх, ты, Паша — Пашуня! Цены себе не знаешь. Что я! По тебе полсела девчат сохнет. Да каких! И не ровня мне, бедной да рыжей. Опомнишься и бросишь меня...

— Не смей говорить так, глупенькая! Запомни: мужики красинского рода — не бабники! Однолюбы! Вот и меня огнем твоим так шибануло, что до конца своих дней, наверное, не приду в себя.

— Паша, а как с учебой? Мне выучиться обязательно надо. Маме помочь Федьку в люди вывести. Он уже сейчас меня башковитей. Хочет летчиком стать. Дома все стены самолетами увешаны. Сам мастерит. Специальных книг много читает.

— И Федору поможем выучиться, и с твоей учебой решим. Будешь дома детей растить и заочно учиться, а я —работать в леспромхозе и в школе, вам с бабулей помогать. Я все умею. За это бабуле моей спасибо, с детства хозяйничать приучила. Она будет радехонька счастью нашему. Заждалась уж правнуков.

— Ладно, Паш. Спасибо тебе. Я согласна...

11.

Павел сидел в читалке, готовился к досрочной сдаче очередного экзамена. «Надо поскорее убираться из города к бабуле. Сдам госы, а дипломную можно и в Спасском писать». Мысль о доме резанула по сердцу. Он стал мысленно прокручивать последние «беседы» с Ипполитом Лаврентьевичем Кабановым. Он же «папа», он же Кабан.

— Сейчас увезу вас с Валеркой в загородный бордель. Там есть спортивный зал. Разогреетесь. Ко мне приехали солидные люди. Надо в грязь лицом не



ударить, от души повеселить. Покажете им профибой, настоящий, с мордобитием и кровушкой. За все вам щедро заплачу, не водицы нахлебаетесь,— как верными псами, распорядился он Павлом и Валерием.

— Мы поехать не сможем, заняты. Завтра в городе открывается краевая универсиада. Начнутся зачетные бои, — было, воспротивился Павел.

— Не понял. Что ты протывкал? Я не четко изложил задачу?

— Не обижайтесь, Ипполит Лаврентьевич, но у нас действительно нет времени. — Павел продолжал отказываться от приглашения.

— Вижу, начинаете борзеть, края пропасти не видите, — взвинтившись, Кабан терял самообладание и дежурную наигранную интеллигентность.

— У нас дипломный год. Мы хотим по-серьёзному заняться учебой, повышением квалификации. Времени в обрез. Прошу отпустить с миром, — не поддавался «прессовке» Павел.

— Хорошо, — выдавил из себя «папа» и попытался вернуться в прежнее «отцовское» расположение. — Я подумал и соглашаюсь с тобой, друг мой Паша. Прости, что сорвался. Давай, вместе обмозгуем, как вам проще отойти от нас и рассчитаться. Нет-нет, не со мной. С братвой. За двухлетнюю кормёжку и прочее. Хотя нет, сегодня же гости. Я сообщу тебе через охрану.

Не прошло и недели, как «папаня» любезно пригласил Павла и Валерия в свой бункер, якобы на прощальный ужин. Друзья не без оснований сомневались, идти ли вообще, предполагая, чем для них мо-

жет закончиться визит. Но им известно было и другое. Просто затаиться, спрятаться — такое еще никому не удавалось.

За изобильным столом гудела приближенная к «папе» братва. Ипполит Лаврентьевич встретил победителей универсиады радушно. Усадил рядом с собой, произносил хвалебные тосты за новоиспеченных чемпионов. Подвыпившие братки отрывались на полную катушку, то и дело чокаясь фужерами с водкой. Друзья, как всегда, спиртного не пили, но наелись досыта.

Спустя полчаса Ипполит Лаврентьевич пригласил их в кабинет президента акционерного общества «Виват», под вывеской которого он и его «собратья» успешно «трудились».

— Смелое решение покинуть наше благородное общество одобряю. Разумно, разумно. Надеюсь, и вы не в обиде на меня?

Парни одновременно сказали ему «большое спасибо».

— Приятно иметь дело с благодарными людьми, — он помолчал. Казалось, вязкая, колючая пауза навечно зависла над ними холодной и зловещей мглой. Павел не выдержал, прервал ее.

— Вы хотели что-то нам сказать? — и закашлялся от волнения.

— Да. Хотел на прощание попросить о маленьком одолжении. Знаю, вы люди надежные, проверенные. Тут подворачивается одно небольшое дельце. В нем вашего участия всего-то попридти при сём. Так сказать, в массовке. Но рассчитаюсь щедро. До-

учиться и на много лет вперед хватит. Конечно, если сделаете все, как надо. Уважая вашу учёную занятость, я бы по мелочам и не потревожил. Ты, Павел, вырос в тех местах, где готовится наша операция. Назовем ее условно «Зелень». Надо будет помочь хорошему человеку сориентироваться в тайге, найти заброшенную «берлогу» для временного укрытия.

— Объясните, если можно, поподробнее, — у Павла перехватило горло, и заходили желваки.

— Дело благородное. Вкратце, будем «экспроприровать» бабки у богатых и раздавать их бедным. Задачу подробно растолкует уважаемый Геннадий Луквич Хорьков.

Парни онемели, впервые услышав из его уст устрашающее для братвы имя отморозка.

— Он возглавит операцию. Я лишь позволю себе высказать несколько маленьких предостережений и советов.

«Папа» расчувствовался, называл Павла и Валерия сынками, обещал великодушно помогать и вкладывать немалый капитал в их спортивную карьеру.

— Вот и знак моего полного доверия к вам — кейс. С кодовым замком, шифром, тремя «стволами» и «маслятами». Передаю его не Хорькову, а тебе, Павел. — Он натянул белоснежные перчатки, открыл кейс. Затем неспешно вынул пистолеты, полные магазины, досыпал в боковой «карман» десяток-другой запасных патронов.

— Хорьков немного психоватый. Поэтому, Паша, кейс с оружием до начала операции держи при себе. А то натворит ещё чего-нибудь...

На прощание он крепко пожал парням руки, растроганно смахнул с лица никак не выдавленные им слезы. Парни поняли: им пришел конец. Уходили от «папы» на ватных ногах, ожидая выстрелы в спину.

— Полный расчет привезут в общежитие, — бодро крикнул он им вдогонку.

В тот вечер из деревни к Парфенову приехала мать, и они ушли ночевать к родственникам. Торопились. Павел успел сказать другу, что за ночь обдумает и завтра у бабули сообщит конкретный план их действий.

Вскоре появился Генка. Важный, нахохленный, куда-то спешащий. Говорили недолго. И без его разъяснений Павлу была ясна цель «папиной» операции.

До рассвета Павел не сомкнул глаз. Впервые за свои двадцать лет. Поначалу рассуждал так: «Папочка» решил хорошенько испачкать нас дёгтем, повязать «мокрухой», чтобы поприжали хвосты. Думает: от страха попасть за решетку мы останемся в их волчьей стае. Так он поступал со многими «братками».

Павла развитие событий по задумке Кабана не устраивало: «Три поколения лесничих Красиных и бабуля с ними отслужили верой и правдой тайге. За труд от зари до зари, открытость души, честность они в почете. А леспромхоз для Красиных — и кормилец, и защитник, и свет в окне.

Прадеды, деды полегли в боях героями, защищая страну от фашистов. А меня какой-то Кабан, бандюга местного разлива, хочет превратить в убийцу, чтоб во век не отмылся. Да бабуля живьём в землю ляжет после такого позора!

Нет! Дудки вам, Ипполит Лаврентьевич, и банде вашей — дудки! Извилины не нарастили, а прёте судьбы людские вершить. Не бывать по-вашему, господа ворье!».

Усилием воли он заставил себя успокоиться: «Нет времени на эмоции. Давай, думай дальше, тяни логику, тяни. Доверия к Кабану никакого и его сладким пряникам тоже. Надеется, «желторотики» все примут на веру. Его «отцовское» слово беспрекословно выполнят. А за это в конце «массовки» вознаградить их по высшему классу — пулями девятого калибра. Недооценил Кабан нас, недооценил. Были бы полными идиотами, если бы действительно поверили, что многоопытный «авторитет» поручит руководство операцией «Зелень» безмозглому Генке. Для таких наездов, требующих ума и интеллекта, есть у «папы», к сожалению, заблудшие умы. Не чета недоделанному роботу-«санитару». Нет, Хорьков — смерть наша. А на захват валюты пошлет «папа» не одну — три бригады, вооруженные до зубов, с новейшими средствами наблюдения. Скорее всего, завтра ранним утром они уже будут сидеть в засаде и поджидать жертву их кровавого пиршества.

Разумеется, в лесу братва нам с Валерой без ОМОНа и пикнуть не даст. Глупо было бы одним вообще как-то сопротивляться. Думаю, в плане «папы»: оставить нас в живых, пока не сопроводим бригаду с «зеленью» к зимовью. Там-то они и вынесут свой вердикт! Живыми нас из леса не выпустят».

Павел твердо решил, что вместо разбоя «Зелень» пройдет успешная операция «Дудки!». Он разыщет

селе опера и Ветрова. Потолкует с ними. Вместе с директором Селиным и ОМОНОм устроят все, как надо. А они с Валерой займутся Генкой. Сразу за селом наручники оденут. Будет орать — кляп в рот. Ничего! Потерпит, душегуб, до сдачи его милиции.

Не пробило и десяти часов воскресного утра, как Генка подрулил к общежитию на новеньком «Лэнд Крузере». Но Павел уже не сомневался в успешном завтрашнем дне.

12.

Управившись с обедом, Ефросинья вышла на крыльцо, присела на скамейку. Любила пору глубокой осени — яркую, непредсказуемую, щедрую. Сорвала наклоненную свежим ветерком гроздь калины. «Матушка ты моя, красавица! Полакомиться приглашаешь. Живым соком сердчишко полечить хочешь, — и съела несколько сочных ягодок. — Пока горьковаты. Приударит морозец, выжмет всю несъедобность, тогда и приберу бесценную».

К воротам подъехала легковая машина. Ефросинья таких еще не видала: высокая, черная, блестящая, с синими и желтыми фарами, темными стеклами. Вышли Павлуша, Валера и чужой парень. Внук подбежал к бабуле. Расцеловались.

— Ба, я не один. Друга Валеру хорошо знаешь, а второй... Объясню потом.

И помчался открывать ворота. Ефросинья зашла в дом, поглядела на себя в зеркало, заторопилась. «Че-

го раньше не накрыла стол-то? Мужики и есть мужики, вечно голодные». И, не скупясь, отовсюду: из печи, подвала, шкафчиков стала выставлять на стол ароматные яства.

Гости ввалились шумно.

— Это вам, Ефросинья Ивановна, — Валера, целуя в щёчку, протянул ей сверток, перетянутый алой ленточкой.

Новый гость не представился. По своему простоудию, Ефросинья сама проявила инициативу к знакомству:

— А ты, мил человек, кто будешь, из каких мест?

— Привет, бабуся! Генкой меня зовут-кличут. В остальном, ты ж, извини, не прокурор, допросы вести.

Ефросинья смутилась и быстренько спряталась за кухонную занавеску.

Павел мигом уловил щекотливую ситуацию, строго глянул на Генку и подчеркнуто ласково пригласил бабулю к столу.

Гости начали аппетитно есть и высвобождать тарелки одну за другой. Насытившись, друзья помогли убрать со стола, перемыли посуду. Генка молча, с неприкрытым лицом наблюдал за ними.

— Давайте, наконец, займемся нашими баранами.— И со злобным нетерпением он вывел парней на улицу.

Ефросинья принялась чистить картошку на пирожки к ужину. «Валерка Парфенов приезжает часто. Спокойный, вежливый, приветливый парнишка, но молчун, лишнего слова не скажет. Вырос, как и Паша, без отца. До института жил с матерью в Эвенкии.

Учился в школе-интернате. Теперь вместе с внуком в студенческом общежитии проживают.

... На долю им достались нелегкие девяностые годы. Во всем полный крах. Стипендия мизерная. На разезды в автобусах не хватает. А подработать негде. Да у кого в это время работа есть: предприятия везде стоят. Старых хозяев выгнали, новые господа носа не кажут, пальцем не шевелят. Люди без зарплаты годами мыкаются. Деток нечем кормить, впроголодь перебиваются. О чем только правители думают, чем жив еще бедный народ наш? — и, горестно кашлянув, продолжила раздумья. — Генка-то другого роду—племени. Волчится, ерничает. Чей, из каких мест, при знакомстве ни словом не обмолвился. По всему видать, ненашенский. Руки не подал. Брезгует, что ли?»

Нет, не показался новый гость, не показался.

«Чего Паша-то с ним вошкается? Вроде, даже побаивается. Кого ему бояться-то! Чай, не хозяин лилипут над ним. Не для того растили, учили, чтоб в холуях прислужничал. А Генка — неуч, к гадалке не ходи. Тать, темный. Повадки не людские. Говорит глупости, сам же над ними потешается. Глазенки лживые, бегают. — Ефросинья поймала себя на неведомой ей ранее безудержной неприязни к незнакомому человеку. — Что это со мной? Так плохо еще ни о ком не думалось. Даже о залетном «зятке» Богдане Бесове. Тот-то вылитый кобелина, но омерзения к нему, как к Генке, не было. Паша не должен приводить в дом, кого попало. Не должен».

На стенке у Ефросиньи — большая фотография: Павел с Валеркой в чемпионских лентах.

Она пристально посмотрела на парней: «Эти двое — не чета Генке. Наш от обоих отличается: видный, лицом пригож. Чем старше, тем смоляней. В родного тятеньку, варнака блудного. Прижил мальчонку на стороне, и в сердце об нём зарубинки не оставил. Бывало, красинские мужики над детками тряслись не менее маток. А ну, как нам с Настей Господь сил не дал бы поднять Пашу на ноги, в люди вывести? Чтоб он, сиротинка, смог?».

Ефросинья заспешила на подворье. Ребят не видно. Пошла вдоль забора к сеновалу — набрать сенной трухи для отвара. «Видать, погода сменится: пальцы на руках скрючило, суставы опухли, мотор с орбиты сходит» — нашла причину своему неважному самочувствию Ефросинья.

Услышав издали разговор парней на сеновале, подошла ближе, затаилась.

— Можно ли довериться селянину твоему? Непроверенный же! Вдруг он падло? А может, жучок? На ментов пашет. Ой, парашу чую. Заведет твой Сусанин в топь непролазную на верную погибель, — выговаривал Павлу Генка.

— Да, ладно, ты каркать, — незлобиво огрызнулся внук, — обойдется! Не в одном деле с Боровиком участвовали — все было по уму. Усомнимся, так и наехать недолго. За базар я отвечаю.

Откуда было знать Ефросинье, что Павел обманул Генку, назвав водителя леспромхозовского уазика бандитом по кличке Боровик? Еще внук слукавил, сказав Хорькову, что Боровик с директором и женщинами из бухгалтерии уже в городе: заранее уехали,

чтобы завтра первыми успеть к открытию банка. А Боровик, мол, вообще свой в доску братан. Поможет спрятать трупы, покажет дорогу к дальнему зимовью, где они смогут затаиться на несколько дней. Потом по приказу Генки сообщит обо всем Кабану. Вчера при этих словах Хорьков расплылся в улыбке, а сегодня — опять злой, нервный, недоверчивый. Из всех сил пытается влезть в шкуру шефа.

— Кабан сказал, что «зелени» в мешках будет немерено. Говорил, от шведов пришли «бабки» за дощаники с ангарской сосной, а теперь лесники везут их, чтобы подешевле, налом, рассчитаться с иностранными поставщиками. — Глаза бывшего вора загорелись алчным огнем.

— Под «зелень» тарой бы запастись, чтобы не сразу «товар» в глаза бросался. Лучше аптечными, конфетными коробками или другой отвлекухой.

— Что ни скажешь, босс, все не к нашему огороду. — Павел нарочито перешел на блатной лексикон. — В сельской аптеке, кроме аспирина и валидола, только крысы водятся. Не густо и в магазине. У людей на пожрать бабок нету. Не до конфет и лекарства. Но мысль твоя верная. На бабулином зимовье я кое-что припас. По пути заскочим, заберем. «Зелень» переложим в пакеты, пересыпим орехами да шишками. Такто надежней. Груз таежный на лесной дороге у ментов подозрения не вызовет.

Ефросинья от услышанного ею разговора обмерла вся, стояла никакая: ни живая, ни мертвая. Наслышавшись и насмотревшись бандитских историй по телевизору, мгновенно поняла, о ком и о чем идет

речь. Не веря ушам, вытерла взмокшее лицо дрожащими руками, тихонько отошла от сеновала. И тут же до нее донесся знакомый с детства визгливый скрип старой лестницы. «Спускаются!».

Она успела скрыться, юркнув в открытую дверь сарая. Парни неторопливо прошагали мимо, продолжая о чем-то спорить. Валера и Генка зашли в дом, а Павел направился к воротам.

Прямо над головой, едва не врезавшись в его шевелюру, пролетела неизвестная птичка. «Совсем от тайги отвык, птиц не узнаю. В школе на уроках краеведения получал одни пятерки, — огорчился он. — Надо срочно идти в село. Там как-то избавиться от Генки и пулей лететь к Дмитрию Петровичу. Но одному нельзя. Это вызовет подозрение. Нюх бандита натренирован».

Сзади по-кошачьи бесшумно подошел Генка.

— Давай, хоть в село смотаемся, от твоих лавок уже сиделка болит, — очень кстати предложил он.

Ефросинья поднялась на крыльцо, посмотрела на Павла, заметив, как зоревый багрянец освежил его лицо. Оно показалось ей совсем юным и озабоченным. «Мамки рядом нет, полюбоваться сыночком». И вдруг вспомнила о нависшей над ней грозовой туче. Схватила за сердце, то щемящее, то замирающее. Зашла в дом. Присев у окна на лавке, достала из потайного кармана передника таблетку. «Боже праведный! Неужто Паша оборотнем стал, перевертышем? Нет-нет. Не может этого быть». Надежда слабым огоньком затухающей свечи еще теплилась в ней. «Не той закваски душа твоя, Пашенька, не той,

не бандитской. А коль оступился по дурусти, с чужой ли дьявольской ли помощью — лягу поперек скользкой стежки, вырву из любой трясины, но не дам свершиться делу грязному, кровавому. Вечному позору нашему. Так-то, сокол мой ясный».

Валера, сидел за столом, допивая кринку брусничного киселя. Увидев побелевшее лицо Ефросиньи Ивановны, подскочил к ней.

— Вам плохо? Может, врача?

— До него, милок, пятьдесят верст. Телефоны только в сельсовете да леспромхозе. По выходным не сыщешь там никого: хозяйство, заготовки. Осень, сам знаешь, год кормит.

Валера взял в ладони холодные руки Ефросиньи Ивановны и начал согревать их своим дыханием.

— Вы расстроились? Может, из-за дебила Генки?

— Нет, Валера, дочку Настеньку, мамку Пашину, вспомнила. Уехала за тридевять земель. Свидимся ли? Сынулю, первенца, оставила. Без нее богатырем вымахал. А Генку, ирода, не привозите больше сюда. Не ко двору он, не ко двору.

Валерий давно уже не мог открыто смотреть в глаза этой женщине. Знал о ее прошлых бедах и бесконечной доброте. С ужасом представил, когда та узнает правду о них с Пашкой. «Почему он молчит, под Генкой ходит? Неужели задумал принять их сторону?». Парфенов нервничал. Лицо его покрылось пунцовыми пятнами.

— Чего сам-то скраснел? Из-за меня? Так не переживай, не впервой, обойдется. Хуже, если дома одна:

людей не дозовешься, до звезд не докричишься.— Она смахнула с морщинистых щёк слезы.

— Не плачьте, пожалуйста, — Валерий не переносил женских слез и беспомощно пытался успокоить её.

— Ты иди, иди к ним, Валера. Мне лучше. Прогуляйтесь. Женихи-то, любо — дорого поглядеть. А девок здесь, как на кедре шишек, — Ефросинья Ивановна улыбнулась, лицо засветилось, ожило.

Ефросинья обдумывала, как вести себя дальше. «Только бы не догадались о моем решении. Только бы не догадались. И внук тоже. Поторопится она — навредит делу».

Вдруг почувствовала, как душа ее затрепетала, переполнилась предчувствием неминуемой беды. Зримо представила в бешеной пляске хороводы черных, злых теней. Они кружились сонмищем и тянули костлявые уродливые руки к груди человека в белой одежде, пытаясь что-то вырвать у него из груди. «Похоже, это я и есть. Скорее на улицу! Душно мне», — и поспешно вышла на подворье.

Свежим ветерком к ней шатнуло кедр. Он словно сам шагнул навстречу Ефросинье. Его широкие мягкие лапы заботливо и нежно прикоснулись к ее лицу, гладили волосы, аккуратно собранные на затылке в тугой, на полголовы, узел. А она грела на ладонях дорогие ей пушистые изумрудные хвоинки.

— Балуеть вниманием, игрун, — ласково заговорила с кедром Ефросинья. — Образумил бы, отчего по жизни мне покоя да добра нету? Советом одарил бы, — и, как бывало в молодости, потрепала мохна-

тые, прохладные ветви. — Не скупись. Ведь о моем житье — бытие до последней минутки ведаешь, только помалкиваешь. Да не в обиде я. У каждого из нас свои окна и в земной мир, и в небесный. Оттого и говорим на разных языках. А отраднее было бы под защитой твоей! Многому научил бы, предостерег. Чую, единый дух в нас. Седьмой десяток доживаю рядом с тобой, провидец мой, а недосуг наболевшее друг другу излить. За суетой-то о куске хлеба грешную душу редко в чистых росах да водах царь-реки омывала, а чаще торопливо в ближний омут кидалась. Бесам на утеху.— Ефросинья надолго замолчала. Потом, очнувшись от раздумий, продолжила тихую беседу.

— Ты да Павлушка — и вся родня. Роднее вас да Насти под ясным небушком никого нету. Твое тепло, кедрушка, и зимой ощущаю. В смутные часы ты один со мной. Кланяюсь тебе за это.

Она согнула к кедру крепкий, не тронутый годами стан. И внутренне уверилась, убедилась в справедливости задуманного. Еще раз поклонилась кедру, пытаясь, медленно отошла от него.

Из-под стрехи дровяника вылетели две взъерошенных москочки, мелкие серо-бурые синички. В клювиках они держали по жирному короеду. Видимо, боясь их потерять, уселись неподалеку, у дедовой кузницы, на цинковую крышку старой бочки, где на всякий случай всегда хранился сухой песок. И тут же, одна быстрее другой, принялись драть червячков острыми коготками и заглатывать кусок за куском, вытягивая кверху черные шейки. Не прошло и минуты, как «докторницы леса», так называла их Ефросинья,

скрылись в ветвях черемухи, весело напевая свое неизменное «ци-ци-ци», переходящее в «туй-пи, туй-пи».

Она набрала охапку березовых дров. «Пусть потешатся в жаркой, баньке,— рассудила,— поди, скоро еще доведется».

13.

День был на исходе. Лучи закатного солнца еще не наигрались с тайгой и цеплялись за косматые макушки.

Павел с Генкой шли молча в сторону села по жухлой, опавшей траве вдоль лесной дороги. Их фигуры, обтянутые синими спортивными костюмами, черными кожаными куртками и освещаемые солнцем, заметно выделялись на фоне пылающего пожарищами леса.

— А ты на зоне кем был? Алешей, акусом, антилопой? — Павел подобрался, ожидая от психа взрывной ответной реакции.

— Что за слова мудреные лепишь?

А тот вопросом на вопрос:

— Полжизни по тюрягам отсиживался, а по фене не ботаешь?

— Зачем она мне? С фени сыт не будешь. Мне и не запомнить столько слов. Я с детства головой страдаю. У меня на морде лица написано, что мозги больные с умом не ладят. И к чему напрягаться? В моем деле глаз-алмаз нужен. Тут— полный ништяк. Мушку чет-

ко держу. А в остальном, покажут, кому кранты перекрывать.

— Я сразу понял, ты — птица дальнего полета.— Павел нарочито кинул тому большого «леща». — Поэтому «папа» и послал тебя верховодить. Отломишь нам по куску пирога, век твоими рабами будем. Не на «папу», на тебя надеемся, — Павел продолжал игру с маниакальным самолюбием Генки.

— Раньше, значит, «папа» для вас хороший был, кормил досыта, бабок подкидывал. А вы, мелкота деревенская, гниды пузырчатые, и забугрились. Волки неблагодарные, племя иудино, гнилушки вот, кто вы.

— Ты тоже пойми: кто мы без дипломов? И так два года у «папы» на цырлах протоптались. Придется упущенное на ура брать! Иначе — кранты.

— Могли бы ксивы кулаками заработать. Без напруга. Попросили бы Кабана, повеселили бы гостей его. Он, что душе угодно, на блюдечке бы принес, не то, что корочки ваши долбаные, — учил уму-разуму Генка. — Мне бы ваш талант, жил бы в Сочах, с телками на пляжах кувыркался. Не «санитарил» бы при кабанах вонючих.

Забывшись, Генка обнажил истинное отношение к «папе». Он люто ненавидел Кабанова, его свинячье, заплывшее салом лицо, но нужны были приличные деньги для независимой, красивой жизни. Потому-то и приходилось раз за разом подрываться на «санитарную мокруху». «Чего я сбрыкал, поганец! А, пусть, — успокоил себя Генка, — завтра студентикам амба».

Павел же мысленно отметил: волки одной стаи, а в любое время готовы друг другу горло перегрызть.

Но сделал вид, что не понял, о ком Хорьков отозвался так злобно, продолжил напевать ему о своем.

— Трудно мне, босс. На тебя хочу работать, жить фраером, бабуле помогать, а не тянуть из ее копеечной пенсии. Устала она.

— Ты мне куртку слюнями не марай, я тебе не поп, не той породы. Попробуй, только кинь завтра, говнюк. Специализацию мою знаешь. Полетите ясными соколиками прямехонько в дебри небесные. На суд божий. Там вам мало не покажется. Иуды и у бога в немилости. Так-то, студентик.

Павел глянул на его серое чугунное лицо. Оно светилося волчьим оскалом. Сзади их догонял запыхавшийся Валерий.

— Крылья взмокли за вами лететь. Чего несетесь, как на блины к теще?

— А ты где отстал? — спросил Павел.

— Ефросинье Ивановне с сердцем плохо было.

Павел хотел повернуть назад, но Валерий придержал друга.

— Ей уже лучше. Вы, мужики, поаккуратней с ней. Тебя, Генка, больше всех касается. А куда идем-то, скажите.

— Променажить вышли. Чо, махнем, братва, по телкам? — азартно предложил Генка.

— Здесь телок нет, не бордель городской, а село. Тут девчата чистоту, невинность блюдут. Таких тумачков надают. Драться же с ними не будешь! — Валера говорил задиристо, уверенно, словно испытал девичий отпор на себе.

— Будут ломаться, и по морде схлопочут, — не унимался Хорьков. — Посулим бабок немерено, то да се — и в кусты их.

— Не хаами и не тряси вонючими бабками, а то сам схлопочешь, — не на шутку взъерошился Павел. — Не посмотрю, что ты у меня в доме, вроде, за гостя. Врежу — челюсти в тряпочке носить будешь.

— Во, петухи! Чего взбеленились, на самом деле? Поостыньте, — примирительно вклинился между ними Валерий.

— Ладно, забыли. Идите-ка вы, жеребцы голодные, домой! — отрезал Павел. — Не время светиться вам сегодня в селе. Здесь чужих быстро запоминают. А я на секунду загляну к однокласснице Катюшке. У нее скоро свадьба. Потом догоню вас.

Парни согласились. Действительно, разумнее им посидеть дома, и неторопливо зашагали в обратную сторону.

Павел быстро скрылся за углом высокого забора. Он опять слукавил насчет свадьбы у Катюшки. Свою недотрогу он никому никогда не отдаст. Просто надо было остаться одному.

Сначала Павел намеревался пойти к Дмитрию Петровичу вместе с новым участковым. Но засомневался: не местный он, и что за человек? Не раз братва называла оборотней в милицейских погонах, которые помогали банде вершить беспредел.

С директором леспромхоза Селиным тоже не знаком. Женщин, кассира и бухгалтера, пугать не хотелось. Решил не рисковать, действовать наверняка, как наметил.

Калитка в просторное подворье Ветровых была открыта настежь. Они всей семьей возились с душистым, хорошо просушенным сеном, складывая его на зиму в огромную скирду. Увидев входящего Павла, хозяин передал вилы сыну и приветливо протянул руку. Он относился к молодому Красину уважительно. Наслышан об его чемпионских титулах. Вошли в дом. Павел подробно рассказал Дмитрию Петровичу о готовящемся разбойном нападении на них в молодом ельнике неподалеку от села, когда они завтра будут возвращаться из банка. Свидетелей, как водится, уничтожат.

— Откуда только узнают все?! — возмутился Ветров. — Вот паскуды!

— У бандитов глаза и уши везде. А иные ради денег мать родную продадут. Чужие — и вовсе мусор. Живут бандитскими законами, где всему голова — деньги. Идохнут, захлебываясь ими.

— До чего дожили, Боже мой! — сокрушался земляк.

— Мы с другом будем в лесу вашими помощниками. Но передайте директору, что омоновцы должны снять засаду до вашего поворота в село. Рисковать нельзя. Там будет сидеть отчаянная, поднаторевшая на разбоях братва. Одним словом, бандюги.

— А ты-то, Паша, как обо всем узнал?

— Приеду через недельку к бабуле, тогда и поговорим. Извините, Дмитрий Петрович, я ухожу, дел — выше крыши.

— Спасибо, сынок, спасибо. В долгу не останемся. И не мотай головой. Знаем, как сегодня живут сту-

денты. Лишняя копейка карман не оттянет. А я к Се-
лину. Мужик он толковый. Быстро свяжется, с кем
надо, и все решит. Обязательно решит.

Прощаясь, они по-родственному крепко обня-
лись.

Вскоре Павел догнал парней. Валерий попутно со-
бирал душицу для чая, а Хорьков бездумно подбрасыв-
вал впереди себя кедом вырванный с корнем куст
брусничника.

— Быстро тебя зазноба отшила — и пяти минут не
прошло! Или жених пинка под зад дал? — Генке явно
хотелось «укусить» Павла.

— Какая зазноба? Одноклассница! Говорил же тебе,
родственница дальняя. Замок на дверях. Ушла к по-
дружкам. Не сидится ей, — Павел сделал вид, будто,
этот вопрос уже его не волнует, и весело предложил.

— Мужики! А не истопить ли нам баньку? Да не
пройтись ли пихтовым венчиком по нашим не оку-
ченным, заброшенным телам? А? Не слышу криков
одобрения!

— Це дило!

Наперегонки припустили к дому.

14.

Вечерело. На голубых волнах сумерек в
осеннем пылающем наряде раскачива-
лась, шумела тайга.

У парадных ворот стояла с заплаканными глазами
Ефросинья. Почерневшая, осунувшаяся, испитая до

дна свалившимся на нее горем, она отрешенно глядявалась в угасающее небо.

— Что с тобой, ба? — встревоженно спросил Павел.

— На непогоду, видать, сердчишко разыгралось, скачет, словно леший по болоту. Давно козы мне такой не строило, — и тяжелой походкой направилась в стайку кормить птицу. Через минуту гогот и кудахта-нье уже неслись на всю округу.

— Ба, давай я покормлю, — заглянул к ней внук.

— Нет, взялась, так управлюсь сама.

Каким-то чужим, металлическим показался ему бабулин голос.

Ефросинья вернулась в дом с ведром парного молока. Парни сидели за столом, что-то рисовали, молча передавая листки друг другу. Она прошла на кухню, процедила в кринки молоко. Развела к утру опару на оладьи, поставила на плиту чугуна с водой для мытья посуды. Взялась за переборку опять, молоденьких, ядреных. Всегда любовно называла их «шустрятами». Они бойко росли огромными причудливыми шапками на старых пнях у забора. «Нет, внучек, Бесов сын, не бывать позору, не бывать. Не допущу».

Плакала беззвучно. «Упаси Бог, чтобы о чем-то догадались!». И нарочито гремела посудой, колотила поленьями по полу. «Только бы сердчишко не подвело, выдержало».

— Паша! Если не занят шибко, сбегай в огород, сорви петрушки да лучку на салатик, — попросила она певучим голосом, давая в себе всхлипывания.

— Я мигом, ба! — Валерий с Генкой оторвались от изрисованных листков, включили телевизор.

— А кормить ужином нас будут? Пустой желудок меж ребер басами гудит, кусается, — хамовато обозначился Хорьков.

— И ужином накормлю, и в баньке напарю.

Павел уже справился с заданием и влетел в дом:

— Вот тебе, ба! — и передал ей охапки зелени. — Салата на полсела хватит.

— Ты чего раскричался? Домового вспугнешь. Он, знаешь, шалых не любит. До смерти ночью зашекочет.

Парни расхохотались.

— Иди-ка на подворье, поостынь. Подбрось травы Буренке. Да баню-то затопи, пока нагреется...

— Ба! А как ты догадалась насчет баньки? Не успел сказать тебе, — искренне удивился внук. — Мы по дороге домой решили грехи наши тяжкие смыть.

— Так легко от тяжких-то не избавиться. Если бы! Три шкуры с себя спустить еще можно, — выпрямилась от посуды Ефросинья. — Да не тело наше грязнится — душа-душенька. Сам знаешь, Паша, она лишь крестом и молитвой омывается, им подвластна. А мы-то в суете-маете редко к Богу обращаемся. Все недосуг...

Павел и без того охотно выполнял бабулины поручения, а тут и собственное желание — банька! — пулей вылетел на улицу. А она опять охнула. Накапала двойную дозу лекарства и, взявшись рукой за левое подреберье, присела у края стола.

— Ты, бабуля, хоть при мне не окочурься. Брезгую до тошноты мертвыми старухами, — сморозил Хорьков и вслед за Павлом хлопнул дверью.

Валерий побежал на кухню, принес Ефросинье теплого молока.

— Не слушайте вы его, отморозка, прилягте лучше. Мы с Пашей все сделаем, только скажите.

— Посиди, милоч, со мной, пока не оставяй одну. Скоро полегчает. И займетесь банькой.

Через пяток минут Ефросинья уже командовала:

— Слазь на чердак, сними три веника березовых и три пихтовых. Как вода в котле закипать станет, запарь сразу. Там ушат осиновый есть. Минут через десять вынь их и — под полоч. Накрой чистой мешковиной, чтоб не высыхали. Потом снова окунай в ушат, как париться-то зачнете. От пихты да березы веник наберется духу лесного, хоть на хлеб мажь. И польза для тела — больша-а-я! Хлещитесь вениками до усталости. Да поболе отвару пейте. Водица изнутри освежит, промоет до самых косточек и опосля паром выйдет.

Павел поджег заготовленную бабулей бересту, и каменка загудела, распелась на все лады. Ее сказочные, фантастические симфонии не-пе-ре-да-ва-е-мы ни одним земным музыкальным инструментом! Ни стонущей и плачущей скрипкой, ни пронзительным свистом свирели, ни медной трубой, ни контрабасом ... Разве только отдаленно напоминали Павлу оркестровое многоголосье.

Ему вспомнилось, как в детстве, по первому ледку, падкая на «экстрим» сельская пацанва, привязав

коньки сермяжными ремнями к валенкам, опробовала крепость избранного ими катка.

На мелководье лед уже прочно зацепился за гальку и прибрежные кусты, заморозив, как в хрустальном шарике, и несколько мелких рыбешек. Здесь можно было кататься смело. Но пацанам хотелось попробовать лед и подальше от берега, поближе к стремнине. Для этого нужно было кому-то набраться смелости и решиться на разведку боем. Ребята постарше отделились стайкой и заняли выжидательную позицию. А отозвались на клич младшенькие: вместе с семилетним Павлушей еще двое первоклашек.

Тройка отважных быстро приближалась к середине реки. Пашины новенькие коньки легко скользили по льду. Он так увлекся скоростью, что не заметил впереди его зияющую в солнечном свете металлическим отблеском небольшую полынью. В результате — свалился в нее со всего маху.

Как и вся сельская детвора, выросшая у реки, Паша неплохо плавал. Внезапно попав в обжигающую холодом купель, нисколько не растерялся, не сбобел. Эка невидаль-полынья! В крещенские дни спасский батюшка в иордани купывал немало ребятни. И дважды Пашу. Правда, дома об этом он помалкивал.

А сейчас раз за разом хватался за кромку льда, но тот распадался в его ладонях на мелкие стекляшки. Намокшая одежда топила, быстрое течение затягивало под лед. Но Паша сопротивлялся, держался на воде, цепляясь руками за острый край полыньи. В какие-то мгновения ему удавалось подтянуться и почти выползти из пучины. Но тщетно: тонкая наледь про-

гибалась под ним, крошилась, и он вновь оказывался в ледовом месиве.

Увидев, что случилось с Пашей, и, предчувствуя надвигающуюся беду, несколько ребят побежали в село, а остальные пронзительно кричали и звали на помощь. Пашины одноклассники замерли у полыньи.

Из сельской кузницы, стоящей на пологой каменной косе неподалеку от берега, уже не бежал-летел дядя Прохор с доской и пожарным багром. Он-то и помог благополучно выбраться малолетнему смельчаку на твердый лед.

Дядя Прохор сильно испугался за мальчонку. Но, когда Паша мокрым зайчонком уже стоял рядом, отшлепал его и велел, сколько есть духу, бежать домой. Не останавливаясь, чтобы поскорее согреться. Паша сделал все так, как он велел.

Ему, конечно же, хотелось скрыть свой позор от бабули и матери. Обледеневшую одежду он отнес на просушку в баню. А сам, переодевшись в сухое, взялся за букварь и чистописание. Бабуля хвалила, когда не откладывал учебу на вечер.

До ее прихода с работы, он не только выполнил домашнее задание, но и наносил к печке дров, смел с крыльца снег, даже помыл за собой посуду, чего и во все не любил делать.

Пашины старания бабуля заметила, похвалила и расцеловала любимца. Прижав его мокрую голову к губам, всполошилась:

— Да ты же горишь весь! Что с тобой? Никак заболел!?

— Да не, ба! Просто спать хочу.

— Спать?! Силком тебя в кровать не уложишь. Ты хоть раз сам просился? Такого не припомню. Нет... Что-то тут не то. Давай-ка, поставим, бесенок, градусник.

И уже через пять минут они с матерью суетились вокруг него вдвоем:

— Ты где так застудился? Или съел чего?

Паша отмалчивался. Сильно болело горло. Бабуля дала выпить шалфею с малиной и медом, помазала во рту противным барсучьим жиром, закутала в старую пуховую шаль. Спать уложила на русскую печку, еще сохранившую утреннее тепло.

Павел очнулся от воспоминаний.

«Завтра, даст Бог, уедем с Валерой к операм, пока по-настоящему в дерьмо не вляпались, — решил парень.— Исповедуемся без утайки: с чьего стола кормились два постыдных года. Заработать негде, «папа» и воспользовался, прикормил безденежных... А мы тоже хороши. Черное от белого отличили не сразу. Хотя должны были сообразить, в какую трясиину врюхались... За что и ответим перед законом, если виноваты. Только ведь ни в одном преступном деле участия не принимали. Платил Кабан за бои до крови перед «высокими» гостями, перед пирующей братвой. Да ещё за разные побегушки: передай, принеси, отвези. Грозился сполна загрузить «делами», когда институт окончим.»

Баня наполнялась любимым с детства запахом березового огня. Павел выключил свет, и на потемневших стенах резво заплясали причудливые блики. Они

напоминали Павлу светомузыку в сельской дискотеке, где скоро будет отплясывать его Катюшка.

Вошел Валера. Осторожно опустил на лавку зеленую охапку веников— душистый кусочек тайги:

— На сей раз парилкой заведу я. Ефросинья Ивановна всему научила. Хочу проверить на собственном опыте ее советы.

— Давай, вали. Давно бы делом занялся, а то прилип к Генкиным безмозглым анекдотам, сидишь возле него целый день, лыбишься, — Павел беспричинно и несправедливо взъерошился на друга.

— Ты из-за Катюши на мне зло срываешь? Тогда не обижаюсь. Утирайся хоть всей рубахой, для друга и фрака не жалко,— добродушно, со смешком ответил Валера.

— Какая Катюша! Выдумал я. Надо серьезно поговорить о завтрашнем дне, — и Павел посвятил Валерия в свой план. Тот шумно обрадовался и стал радостно тискать его в своих объятиях.

— Верил в тебя, Пашка. Ты никогда не пойдёшь на преступление, никогда! И, слава Богу, не обманулся. Вдвоём прорвемся. С тобой, дружище, я до последней капли крови. Чтоб это знал.

— Постучи по дереву! Надеюсь, омовцы устроят сволочам этим полный каюк. По высшему классу. Они же профи! А Генку сами повяжем. Я и наручники, когда-то подаренные мне Кабанчиком, припрятал.

Павел посерьезнел:

— Помни одно: завтра утром кейс со «стволами» должен быть в твоих руках. До отъезда из дома они не понадобятся.

— А если Генка запросит причитающуюся ему «пушку»?

— Ладно, не бери в голову. При любой ситуации с кейсом у него ничего не получится. Код только мне известен. Без него кейс, хоть топором бей, не откроешь. Остальное, как договорились. Заготовь на сегодняшний вечер для Генки анекдотов покруче, разных приколов, лести. Ты ведь в этом дока. Главное, побольше веселья. Заметь, не наигранного веселья. Генка — хитрый жук, ничто не должно его насторожить.

— Понял, шеф! — шутливо отрапортовал Валера.

— А после баньки, за ужином, нальем братану пару стаканов бабулиного огненного змия. Он выпить не дурак, не откажется. Мы же обойдемся бутылочкой столового.

Павел подбросил в каменку сухих поленьев. Вода в котле уже выталкивала последние пузырьки воздуха.

Пора заниматься подготовкой веников. Валерий неторопливо взялся за дело и стал аккуратно мочить их в ушат, словно младенцев в купель, о чем-то негромко напевая.

Он обладал редкой красоты тенором, но никогда не пел при людях, стеснялся. А сегодня распелся с особенным удовольствием и душевностью. По лицу, голосу, легкости в движениях было видно, что после разговора с другом, он сбросил с себя непосильную, гнетущую его ношу.

Закончив таинство с вениками, Валерий пошел в дом готовиться к бане.

Павел домыл половицы на банном крыльце, выполоскал, отжал половую тряпку из мешковины и бросил ее для просушки, как учила бабуля, на забор. Сзади к нему бесшумно подошел Хорьков. Павел даже вздрогнул от неожиданного прикосновения его холодной руки:

— Наконец-то, вижу, баня готова. Тело — сплошная короста, чешется. Давай, не резинь, кличь Валерку. А я — в парную!

Генка плотно закрыл за собой тяжелую дверь из лиственницы, обитую с наружи войлоком для оберега тепла.

Павел прислушался — тот гремел тазиками — и направился в летнюю кухню, где на лежанке за русской печкой прикрытый полый овчинного тулупа был спрятан кейс. Не включая света, нащупал тайник: «На месте», — и быстро вышел на подворье.

Первые сумеречные звезды игриво подмигивали ему. Он подошел к кедру, прижался к сырому, прохладному стволу:

— Через неделю приеду. Надышусь чистотой да красотой твоей, насмотрюсь на Енисей-батюшку, на багряную роскошь тайги. Душу пыльную туманами омою. И пойдем с бабулей к Катьке свататься. Пора старушку добрыми заботами нагрузить, чтоб о хворях не думала, правнуками сердце порадовала. Получу диплом — в село вернусь. Буду в леспромхозе работать. Мои руки лишними здесь не окажутся. А вечерами займусь спортивными секциями. Вот и заживем доброй красинской семьей.»

Он неторопливо поднялся на высокое крыльцо, включил свет. По-хозяйски осмотрел облупившуюся на перилах краску, заметил прогнившую нижнюю ступеньку: «Займись в следующий приезд».

Генка, войдя в предбанник, поначалу задохнулся лесными ароматами. На столике дымилась кринка с парным молоком, другая, прикрытая новеньким цветастым полотенцем, источала хлебный дух свежего кваса. Из пузатого эмалированного чайника пахло душицей и мятой.

В переднем углу в большом ведре с водой стоял огромный букет осенних цветов вперемежку с ветками осины и кедра. «Бабуля расстаралась. А ничего — круто», — подумал он и, не дожидаясь парней, стянул с себя несвежую одежду. Широкую спортивную куртку свернул рулетом, положив вниз под брюки, чтобы ушлые Пашка с Валеркой не заметили «ствол», с которым никогда не расставался: «О нем пацаны не знают и не должны знать».

Алюминиевые тазики сверкали чистотой. Он выбрал самый большой и нырнул в парную.

Друзья ввалились весело, с прибаутками. Включили японскую спидолу с записью группы «Битлз». В просторном предбаннике от громающей музыки, молодых крепких тел стало тесновато.

Вмиг раздевшись, парни наперегонки рванули в парную на полоч. «Птенцы! Щебечут и не чуют своего последнего дня», — удовлетворенно отметил Хорьков.

Вечерело. Ефросинья тихо подошла к тяжелой, разбухшей от сырости банной двери. «Не замешкаться бы мне. До участкового идти неблизко». И подперла дверь тяжелым ломом.

Мельком взглянула на высокие, почти под крышей, узкие оконца в предбаннике и в бане, обитые, на случай лесных «клиентов», поверх стекла металлической решеткой. «Через них и головы не просунуть. Стало быть, надежно заперла их до прихода участкового». Сунув под язык валидол, быстрым шагом, насколько позволяли ей силы, направилась в село.

Участковый оказался на месте. В коридоре толпились деревенские парни, собравшиеся на дежурство. Поздоровалась, представилась. Он назвался Евгением Богдановичем Бесовым. Не местный.

Ефросинья смутилась: «Не сын ли того Богдана Бесова? Вот так встреча!». И вместо того, чтобы скорее рассказать о цели прихода, села на стул, терпеливо дожидаясь, пока тот инструктировал парней. «Зачем берут в милицию такой мелкий народ, как Евгений Богданович? Разве рослые мужики перевелись в Сибири? Под силу ли ему эта служба? Может, к нам не один пойдет да с ружьем?». И тут спохватилась. Ребята начинали расходиться.

— Я с такой бедой к вам, — вместе с Бесовым вошла в его кабинет. Рассказала о своих подозрениях, подпертой двери. Он внимательно, настороженно слушал, мысленно соотносил ее информацию с содержанием часом раньше полученной из РОВД ориентировки. «Женщина пожилая, солидная. Напраслину не наведет. Подслушанный, толково переданный ею разговор парней на сеновале не оставляет сомнений в серьезности ситуации. Жаль, откровенной беседы с Ефросиньей Ивановной не могу себе позволить, чтобы она каким-либо неосторожным действием не вспугнула «гостей».

Из ориентировки он знал о готовящейся масштабной операции по задержанию членов банды Кабана в офисе «Виват», в лесной засаде и в Спасском. Задействованы силы РОВД, краевого ОМОНа и прокуратуры. План операции засекречен. Бесов взглянул на часы.

«К полуночи омоновцы с опергруппой придут в село и повяжем опасного уголовника, бандита Геннадия Хорькова в доме Красиных».

— Неужели и внук с бандитом заодно? — не сдержавшись, сочувственно спросил Бесов.

— Не знаю. Разберетесь сами. Пойдемте скорее, пока они не выбрались из бани. Не доведи Господи свершиться беде. Не могу я допустить, чтобы внук мой в кровавое дело встрял, себя испоганил и фамилию запятнал.

— А оружия у них не видели?

— Нет, милоч, при мне не вынали.

— Не беспокойтесь. Отоприте их. О том, что были у меня, — ни-ни! А завтра спокойненько во всем разберемся, примем меры. — Бесов уже не знал, куда прятать глаза от уничтожающего взгляда Ефросиньи Ивановны.

— Какое завтра! Они рано утром собираются уехать. Ой, упустите их, Евгений Богданович! И натворят они в лесу беды горькой. Невинных погубят, лихоимцы проклятые. Да как же так можно работать? «Завтра»! — передразнила она Бесова, резко поднялась и почти бегом выбежала на улицу.

«Ничего, пока доберется до своего медвежьего угла, поостынет, успокоится. Ближе к ночи возьмем их тепленькими» — Бесов заторопился с помощниками на дискотеку.

16.

Парни парились, пили душистый чай, обтирались им и снова парились. У всех было отличное настроение.

В очередной раз сидели за столом, балагурили, допивая кринку молока. Валерий возьми да скажи Генке:

— Придем в дом, поблагодари Ефросинью Ивановну за гостеприимство, за добрую баньку, за материнскую заботу о нас. Ей будет приятно.

— Еще чего! Она меня за лоха держит. Глядит, как на врага народа, а ей буду бисер метать. Не по моему чину это. Хватит ей и моего вежливого молчания. Это надо понимать, шантрапа ученая! — взбесился и сра-

зу перешел на такой крик Генка, словно на него ушат холодной воды вылили.

Павел, помня о серьезности предстоящего дня, решил загасить искру наметившейся ссоры. Он дружелюбно дотронулся до его спины и заискивающе спросил: не поддать ли еще парку? По той же причине, наверное, и Генка примирительно буркнул:

— Почему бы и нет?

Валерий соскочил с полка, собрал веники и утопил их на минуту в ушате. Потом шутливо и торжественно подал по венику Хорькову и Павлу. А сам выскочил в предбанник, черпнул ковш кваса и плеснул его на еще пышущую жаром каменку. Парная наполнилась аппетитным запахом испеченного на поду хлеба.

Вновь принялись нещадно хлестать себя вениками из смолистой пихтушки, фыркая, ухая и размахивая во все стороны руками.

Вдруг парная взорвалась бешеным криком Хорькова: Валерий невзначай концом веника ткнул Генке в глаз, серьезно поранив его. Он мгновенно залился кровью.

И тут началось! Хорьков изо всей силы толкнул в спину Парфенова. Тот от неожиданности не удержал равновесие, слетел со скользкого полка на пол и врезался головой в каменку. Наверное, прикусил язык или выбил передние зубы, потому что изо рта хлынула кровь. Павел взревел, видя друга в таком состоянии:

— Ты что, гад, делаешь?! Приехал в мой дом и строишь из себя пахана! Думаешь, не знаю, кто «санитарит» в вашей волчьей стае? Теперь вот над нами вороном кружишься. Уйди, чтобы не видел тебя! Зна-

ешь ведь: врежу — подохнешь! Лети в предбанник, промой свой глаз травяным настоем. Мы на ринге и не такие удары выдерживали, а ты... Сморчок!

Он снял с полка распаренного докрасна обидчика и вытолкнул его в предбанник.

Положив друга на широкую лавку, наклонился над ним, стал смывать с лица и шеи сгустки крови. Валерий пришел в себя.

— Ее-мое!

Присев к тазику с холодной водой, пытался прополоскать разбитый рот.

— Приляг. Кровь хлестать не будет.— Павел намочил полотенце, положил ему на лицо.

Из предбанника вихрем влетел Хорьков.

— Перестреляю, как котят! Лохи проклятые!

Уверенный в своей силе Павел не обратил на психу никакого внимания, лишь мысленно отметил: «Хорошо, оружия у него нет...». Он по-прежнему стоял к Хорькову спиной. Валерий лежал на полу, прикрытый другом. В этот миг раздался выстрел. Павел на секунду замер и, не успев ничего сказать, упал.

Валерий мгновенно вскочил и ринулся на Хорькова, тот успел выстрелить. Пуля прошла Парфенова где-то у самого сердца. Ухватившись за Генкины плечи, он повис на убийце. Голова кружилась, стены и потолок менялись местами. Горела огнем грудь, но ему хватило сил заломить Генкину руку с пистолетом за спину и не дать убийце выстрелить в третий раз. Потом Валерий обмяк и всей массой атлета повалился на тщедушного бандита. Хорьков ударился о край лавки головой, и пистолет выскользнул из его руки.

Валерий, собрав последние силы, накрыл оружие ногой и сжал бандиту горло. Тот извивался угрем, пытаясь выскользнуть из рук боксера.

Обескровленный, Парфенов стремительно терял силы, но жизнь неохотно отпускала в небытие молодое тело. Он продолжал бороться с Хорьковым, хотя тот уже был сильнее его.

Генка, наконец, вырвался и пулей вылетел в предбанник: «Поскорее добраться до машины, и я спасен от тюрьги!».

Валерий потерял сознание и упал рядом с Павлом.

Хорьков навалился на дверь, но та не поддавалась. «Прилипла что ли?» — обмер он. В нервном припадке, неестественно, по-звериному, он начал бросаться из угла в угол предбанника и биться о дверь. Не открылась! Тогда Генка начал таранить ее с разбега. Бесполезно.

Избив тело в кровь, обессилев, понял, что она, подперта снаружи, уже никогда для него не откроется. Вскинул залитые потом и кровью глаза к маленькому зарешеченному оконцу.

— Ах, ты, старая тварь! Урою всех, но живьем не дамся! — Бандит по-прежнему метался, утробно рычал и матерился. Неистовый рев загнанного зверя на минуту привел в сознание Валерия. Он наткнулся рукой на пистолет. Поднял руку. Выстрелил.

В этот миг Хорьков еще раз пробовал руками, всем телом раскатать дверной косяк. Но пуля настигла его. Он дернулся вперед, пауком распластался на простенке и рухнул вниз.

— Сдохни, гад, сдохни! — предсмертных слов парня никто не слышал. Но ему на мгновение стало легче.

С умерки сгущались, стирая, поглощая и окрашивая тайгу в чернильный цвет. Похолодало. Легкий туман забелил, обесцветил догорающее закатом небо. Чем ближе Ефросинья подходила к дому, тем отчетливее слышала дыхание встревоженного Енисея и недобрые завывания зарождающегося в выси Саян ветра. Лесное эхо дополняло их таинственными звуками приближающейся ночи.

Ефросинья возвращалась домой, потеряв надежду на спасительную помощь участкового. Ревела в голос, кричала. Ей хотелось ругаться самыми грязными, плохими словами. Но сдержала себя, хотя память сохранила их — слова отчаяния, беспросветности и падения души.

На лесоповалах все сквернословили. Особенно изощрялись «химики», давно потерявшие себя мужики, без веры, слабые духом и телом. За сорокалетнюю работу бок о бок с ними Ефросинья не взяла такого греха на душу. Люто ненавидела людское безвольное грехопадение. Уговаривала, умоляла, просила мужиков очистить языки от сатанинской скверны. Но ничего добром так и не добившись, не раз лишала их премии за матершину. А теперь вот сама чуть не сорвалась на мат.

«До чего дожила! И все из-за власти бандитской! Нигде правды не сыщешь. Недокормыш! При погонах, чине и обязанностях пальцем не хочет пошеве-

лить. Лупится цыганскими глазами то в потолок, то в пол, а в лицо не глядит, оборотень. Проклятый! Вот злыдни, рогачи бесовские навязались на нас. До завтра, видите ли, ему и дела нет. Никак с бандитами заодно? Не ново, не раз слыхивала про такое по телевизору. Позор-то какой! Некому беду мою развести».

Обессиленная и растерянная, отыскала хорошо знакомый ей большой черный пенёк в придорожном ельнике. Тяжело опустилась на него и сорвала несколько сочных ягодок с цепляющейся за стебельки трав и шероховатости пня клюквиной плети. Смотрела на угасающее в закатных лучах небо и замершие в безветрии макушки деревьев. Прислушивалась к угрюмой тишине леса.

«В горах уже ветрено, скоро и до низов дойдет». Ее давило горе. «Паша, Паша! Что же ты натворил со мной? Перед каким лихом на колени поставил!».

Встала. «А идите вы все! Чертовы защитнички... с рожками. Сама, как смогу, справлюсь».

Слезы душили ее, жарким комом застревая в горле. Всхлипывая, держалась она за горящее в груди сердце. Походка отяжелела, стала медленной, нетвердой. Дойдя до забора, Ефросинья повисла на нем, едва отдышалась.

До бани оставалось менее сотни шагов.

Подойдя к ней, наконец, прислушалась. Ничего не слышно из-за грохочущей музыки. «Лом на месте, но уже вошел острием в половицу. Значит, пытались выйти. Но не стучатся. Видать, снова парятся. Что же сделать? Как кровинку мою от смертного греха убе-речь?».

Она зашла в бывшую кузницу, где с дедовых времен хранились огородный инвентарь и керосин для заправки фонарей.

Взяла трехлитровую бутылку и отнесла к бане. «А ветер-то как разгулялся, беснуется, аж пихтушки на-земь клонит. Непогодушка по рукам вяжет. Так и лес, и село безвинное недолго спалить. Вот и дружок мой растревожился, шишки вокруг себя кидает. Не все, видать, Павлушка собрал. Да о чем я, до шишек ли. Как быть, делать-то что?!».

Она попыталась достать коробок. По давней таежной привычке носила их по нескольку в карманах юбки. Но ветер неистово рвал на ней одежду, задирали вверх парусами, не давая возможности добраться до спичек.

Ефросинья едва держалась на ногах. Ее душа была переполнена безмерной любовью, болью и тоской. «Павлушка, Павлушка!».

Вдруг ветер стих, только сильно качнулись верхушки пихтушек у забора. Откуда-то ей явно послышался мужской говор. Она огляделась по сторонам. В густых сумерках, наполнивших непроглядной темнотой шумевшую многоголосьем тайгу, никого не увидела.

«Показалось».

Вновь налетевший «саянец» уже сбивал ее с ног.

И тут словно какая-то неведомая сила подхватила грузное тело Ефросиньи, пронесла через темное подворье и бросила на траву у кедра. Она успела ухватиться трясущимися от страха руками за его нижние ветви. Очнулась под кедром. «Знаю, кедрушка, стере-

жешь меня от греха смертного. Всю округу взбеле-
нил. Ишь, как тайга-любушка бунтуется. А взял бы,
дружок, и помог — гибкими да могучими лапами по-
вязал бы бесноватых. Так нет! Чужими руками легко
жар загребать. Взвалили на меня нечисть окаянную.
У края пропасти поставили. Гореть теперь на кострах
адовых. А как иначе? Если не я, то кто? Нет, уж реше-
но — не отступлюсь. Не дам дьявольскому роду-пле-
мени людьми хороводить, божьего света лишать.
Мне, видать, конец, не жилица я. Все живое когда-то
умирает. Выпала Фросеньке горькая судьбинушка. И
в закатный день Бог не милует. Испытывает дух, да
еще как! Внука на весы жизни моей поставил. Какой
тут выбор, если он в душегубы записался? Вот отдох-
ну малость, помолюсь, да и свершу дело — последнее,
страшное, грешное. Окромя меня, некому. А ты, кед-
рушка, прощай и не обессудь...».

То ли новый порыв ветра свалил Ефросинью на
землю, то ли, обессилев, сама повалилась, уткнулась
ничком в ствол раскачивающегося, ревушего кедра.

18.

Дискотека в клубе гудела, сверкала
плывущими по стенам навстречу друг
другу разноцветными круговыми
всполохами. В штормовом море огней и музыки бы-
ло уютно и весело. Пьяных парней развели по домам,
и в танцевальном зале воцарились расслабляющие
мелодии, ритмика да искрометные кострища беско-
нечно молодых глаз.

Бесов, распрощавшись с помощниками, поспешил в опорный пункт. Там его уже ожидали омоновцы, опергруппа и медики. Участковый рассказал им о приходе Красиной.

— Напрасно ты ее отпустил в таком состоянии. Она может по-своему всё истолковать.— Командир омоновцев капитан Корольков принял решение срочно начать операцию по обезвреживанию Хорькова.

Под покровом ночи милицейская «газель» беззвучно остановилась у парадных ворот красинского дома, рядом с Генкиным «Лэнд Крузером». Подбежав к бане, омоновцы увидели подпертую ломом дверь и бутылку с какой-то жидкостью. Бесов вынул пробку.

— Керосин. Так вот какое решение приняла Ефросинья Ивановна из-за моей глупости, — повинился он омоновцам.

Осторожно убрал лом, глубоко вдавленный острием в половицу крыльца. «Кажется, уже прикладывали силушку». Баня содрогалась от резкого ветра и гремящего рока.

— Повеяем всех троих. Следователи разберутся, кто прав, кто виноват. Без моего приказа не стрелять! Берем внезапностью и натиском. Ну, с Богом! — уверенным баском приказал Корольков.

Бесов рывком открыл дверь и замер на пороге.

Три не подающих признаков жизни тела в лужах собственной крови. Он прошел к столику. Выключил спидолу. Увидев разбитые до неузнаваемости лица двух молодых парней и лежащего ничком юношу бо-

гатырского сложения, представил разыгравшуюся здесь трагедию. «Тут есть, над чем поразмышлять следователям».

Бесов вспомнил о Ефросинье Ивановне: «Где она? Надо бы ее подготовить».

Омоновцы осматривали баню. Корольков наклонился над парнем с раной под левой лопаткой, слегка приподнял его голову, отметив, какое у него красивое, чистое, не тронутое побоями лицо.

— Врача сюда! Он в «газели». Кажется, этот парень без сознания. Дышит. Давай, быстро!— приказал Корольков.

Участковый не успел добежать до ворот, как увидел, что группа следователей, зам. прокурора и врач уже торопливо шли ему навстречу.

— Там такое! Один из них жив. Поторопитесь, а я поищу Ефросинью Ивановну.

Дом на замке. Сарай тоже. Тщательно осмотрел кузнецу, летнюю кухню. Под тулупом нашел кейс.

Вышел на подворье, обошел по периметру забор и, подумав, не ушла ли она опять в село, направился к парадным воротам. Дойдя до середины подворья, остановился у развесистого кедра. Вынырнувшая из-за туч луна высветила неподвижно лежащую, словно спящую Ефросинью Ивановну.

...Село гудело, растревоженное небывалым трагическим событием. Говорили с любовью о Ефросинье Ивановне. С сомнением о Павле. «Чужие» их не касались, да и что о них говорить-то?

По заключению следователей, Павел был первым пострадавшим от рук убийцы. Хорьков тяжело ранил его. Но Красин будет жить.

Его друг Валерий Парфенов применил чужое оружие, применил последним. Очевидно, в целях самозащиты. Перед людьми и судом он не убийца.

На похороны собрались селяне от мала до велика.

— Ушла от нас Фрося-Ефросинья. До последнего дня цены ей никто не знал. Суетимся все. А была она чистой росинкой... — подступивший к горлу комок не давал Селину говорить. Откашлявшись, не стыдясь и не вытирая обильно хлынувших по щекам слёз, продолжил:

— Была мудрой и сильной. Такой и храните ее в памяти. Не она бы да ее внук Павел Богданович Красин, лежать бы нам здесь перед вами с Дмитрием Петровичем. И еще двум нашим женщинам...

Ефросинью похоронили рядом с матерью, Полиной Красиной. В Спасском о Павле никто и никогда теперь не скажет худого слова.



БУЛЕВИЧ
Тамара Анатольевна

ФРОСЯ-ЕФРОСИНЯ

Повесть

Редактор Ю. Вихров
Корректор В. Ананина
Техредактор А. Поляков

Сдано в набор 14 июня 2007 г.
Подписано в печать 2 июля 2007 г.
Формат 70x100 1/32. Объем 4 п.л.
Тираж 500 экз. Бумага офсетная.

Издатель — Независимое литературное агентство
(«Московский Парнас»)
123995, М., Поварская ул., 52, оф. 23,
тел. 291-6341)